

Л. ПАНТЕЛЕЕВ

Мёнька Пантелеев



Книги на все времена (Энас)

Леонид Пантелеев

Ленька Пантелеев

«ЭНАС»

1939

УДК 82-3
ББК 84-44

Пантелеев Л.

Ленька Пантелеев / Л. Пантелеев — «ЭНАС», 1939 — (Книги на все времена (Энас))

ISBN 978-5-91921-362-8

Повесть «Ленька Пантелеев» – о том, как обыкновенный мальчишка из Петрограда стал беспризорником. На его долю выпало немало испытаний и смертельно опасных приключений. Он невольно участвовал в событиях гражданской войны (1918–1922). Ему пришлось бороться за жизнь, воровать, голодать и скитаться. Он видел много страшного и жестокого, но вместе с тем встретил немало замечательных людей, которые научили его различать добро и зло, помогли найти свое место в жизни, стать настоящим человеком. Для среднего школьного возраста.

УДК 82-3

ББК 84-44

ISBN 978-5-91921-362-8

© Пантелеев Л., 1939

© ЭНАС, 1939

Содержание

Предисловие от издательства	6
Пролог	7
Глава 1	11
Глава 2	26
Глава 3	47
Глава 4	59
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Л. Пантелеев

Ленька Пантелеев

© А. Шевченко. Иллюстрации, 2016,

© ЗАО «ЭНАС-КНИГА», 2016

* * *



Предисловие от издательства

Часто бывает так, что писатели придумывают своих героев – дают им вымышленные имена и отправляют на поиски невероятных приключений, которых на самом деле никогда не было. Но в этой книге все иначе. Ленька Пантелеев – это псевдоним автора, Алексея Ивановича Еремеева (1908–1987). И все, что написано в этой повести, – правда.

Герой и автор этой книги, Ленька Пантелеев, родился в Петербурге. Он хотел бы жить как обыкновенный человек – любить родителей, ходить в школу, дружить с хорошими детьми. Но ему не повезло – он рос в сложное для страны время. Началась Первая мировая война (1914–1918), потом в Российской империи за один 1917-й год случились две революции, после чего разразилась кровопролитная гражданская война (1918–1922).

В России наступила новая жизнь. Город Санкт-Петербург переименовали, превратили в Петроград, а затем в Ленинград. Вот только жить там стало невозможно. Свирепствовал голод, царила безработица. Люди умирали от холода, потому что топить печи было нечем, гибли от инфекционных болезней, потому что не хватало врачей и лекарств. Многие дети остались без попечения родителей и оказались на улице. Армия оборванных, голодных, нищих детей промышляла мелкими кражами и была постоянной головной болью городских обывателей.

Из этой книги вы узнаете, как Ленька Пантелеев стал беспризорником. Он встретил немало замечательных людей, которые помогли ему выжить и остаться человеком. Ему посчастливилось попасть в число воспитанников Школы-коммуны имени Достоевского (ШКИД).

Как складывалась дальнейшая судьба Леньки и его друзей, рассказывает повесть Леонида Пантелеева и Григория Белых «Республика ШКИД», по которой был снят знаменитый одноименный художественный фильм.

Пролог

Весь этот зимний день мальчикам сильно не везло. Блуждая по городу и уже возвращаясь домой, они забрели во двор большого, многоэтажного дома на Столярном переулке. Двор был похож на все петроградские дворы того времени – не освещен, засыпан снегом, завален дровами... В немногих окнах тускло горел электрический свет, из форточек то тут, то там торчали согнутые коленом трубы, из труб в темноту убегал скучный сероватый дымок, расцвеченный красными искрами. Было тихо и пусто.

– Пройдем на лестницу, – предложил Ленька, картавя на букве «р».

– А, брось, – сердито поморщился Волков. – Что ты, не видишь разве? Темно же, как у арапа за пазухой.

– А все-таки?..

– Ну все-таки так все-таки. Давай посмотрим.

Они поднялись на самый верх черной лестницы.

Волков не ошибся: поживиться было нечем.

Спускались медленно, искали в темноте холодные перила, натывались на стены, покрытые толстым слоем инея, чиркали спичками.

– Дьяволыщина! – ворчал Волков. – Хамье! Живут, как... я не знаю... как самоеды какие-то. Хоть бы одну лампочку на всю лестницу повесили.

– Гляди-ка! – перебил его Ленька. – А там почему-то горит!..

Когда они поднимались наверх, вниз, как и на всей лестнице, было темно, сейчас же там тускло, как раздутый уголек, помигивала пузатая угольная лампочка.

– Стой, погоди! – шепнул Волков, схватив Леньку за руку и заглядывая через перила вниз.

За простой одностворчатой дверью, каких не бывает в жилых квартирах, слышался шум наливаемой из крана воды. На защелке двери висел, слегка покачиваясь, большой блестящий замок с воткнутой в скважину ключом. Мальчики стояли площадкой выше и, перегнувшись через железные перила, смотрели вниз.

– Лешка! Ей-богу! Пятсот «лимонов», не меньше! – лихорадочно зашептал Волков. И не успел Ленька сообразить, в чем дело, как товарищ его, сорвавшись с места, перескочил дюжину ступенек, на ходу с грохотом сорвал замок и выбежал во двор. Ленька хотел последовать его примеру, но в это время одностворчатая дверь с шумом распахнулась и оттуда выскочила толстая краснощекая женщина в повязанном треугольнике платке. Схватившись руками за место, где за несколько секунд до этого висел замок, и увидев, что замка нет, женщина диким пронзительным голосом заорала:

– Батюшки! Милые мои! Караул!

Позже Ленька нещадно ругал себя за ошибку, которую он сделал. Женщина побежала во двор, а он, вместо того чтобы подняться наверх и притаиться на лестнице, кинулся за ней следом.

Выскочив во двор и чуть не столкнувшись с женщиной, он сделал спокойное и равнодушное лицо и любезным голосом спросил:

– Виноват, мадам. Что случилось?

– Замок! – таким же диким, истошным голосом прокричала в ответ женщина. – Замок ироды сперли!..

– Замок? – удивился Ленька. – Украли? Да что вы говорите? Я видел... Честное слово, видел. Его снял какой-то мальчик. Я думал, это ваш мальчик. Правда думал, что ваш. Позвольте, я его поймаю, – услужливо предложил он, пытаясь оттолкнуть женщину и юркнуть к воротам. Женщина уже готова была пропустить его, но вдруг спохватилась, сцапала его за рукав и закричала:

– Нет, брат, стой, погоди! Ты кто? А? Ты откуда? Вместе небось воровали!.. А? Говори! Вместе?!

И, закинув голову, тем же сильным, густым, как пожарная труба, голосом она завопила:

– Кар-раул!

Ленька сделал попытку вырваться.

– Позвольте! – закричал он. – Как вы смеее? Отпустите! Но уже хлопали вокруг форточки и двери, уже бежали с улицы и со двора люди. И чей-то ликующий голос уже кричал:

– Вора поймали!

Ленька понял, что убежать ему не удастся. Толпа окружила его.

– Кто? Где? – шумели вокруг.

– Вот этот?

– Что?

– Замок сломал.

– В прачечную забрался...

– Много унес? А?

– Какой? Покажите.

– Вот этот шкет? Курносый?

– Ха-ха! Вот они – полюбуйтесь, пожалуйста, – дети революции!

– Бить его!

– Бей вора!

Ленька вобрал голову в плечи, пригнулся. Но никто его не ударил. Толстая женщина, хозяйка замка, крепко держала мальчика за воротник шубейки и гудела над самым его ухом:

– Ты ведь знаешь этого, который замок унес? Знаешь ведь? А? Это товарищ твой? Верно?

– Что вы выдумываете! Ничего подобного! – кричал Ленька.

– Врет! – шумела толпа.

– По глазам видно – врёт!

– В милицию его!

– В участок!

– В комендатуру!

– Пожалуйста, пожалуйста. Очень хогошо. Идемте в милицию, – обрадовался Ленька. – Что же вы? Пожалуйста, пойдемте. Там выяснят, вог я или не вог.

Ничего другого ему не оставалось делать. По горькому опыту он знал, что как бы ни было худо в милиции, а все-таки там лучше, надежнее, чем в руках разъяренной толпы.

– Ты лучше сообщника своего укажи, – сказала какая-то женщина. – Тогда мы тебя отпустим.

– Еще чего! – усмехнулся Ленька. – Сообщника! Идемте, ладно...

И хотя за шиворот его все еще держала толстая баба, он первый шагнул по направлению к воротам.

В милицию его вела толпа человек в десять.

Ленька шел спокойно, лицо не выдавало его – на его лице с рождения застыла хмурая мина, а кроме того, в свои четырнадцать лет он пережил столько разных разностей, что особенно волноваться и беспокоиться не видел причин.

«Ладно. Плевать. Как-нибудь выкручусь», – подумал он и, посвистывая, небрежно сунул руки в карманы рваной шубейки.

В кармане он нащупал что-то твердое.

«Нож», – вспомнил он.

Это был длинный и тонкий, как стилет, колбасный нож, которым они с Волковым пользовались вместо отвертки, когда приходилось свинчивать люстры и колпаки на парадных лестницах богатых домов.

«Надо сплавить», – подумал Ленька и стал осторожно вспарывать подкладку кармана, потом просунул нож в образовавшуюся дырку и отпустил его. Нож бесшумно упал в густой снег. Ленька облегченно вздохнул, но тотчас же понял, что влип окончательно. Кто-то из провожатых проговорил за Ленькиной спиной:

– Прекрасно. Ножичек.

Все остановились.

– Что такое? – спросила хозяйка замка.

– Ножичек, – повторил тот же человек, подняв как трофей колбасный нож. – Видали? Ножик выбросил, подлец! Улика!.. На убийство небось шли, гады...

– Батюшки! Бандит! – взвизгнула какая-то худощавая баба.

Все зашагали быстрее. Сознание, что они ведут не случайного воришку, а вооруженного бандита, прибавило этим людям гордости. Они шли теперь, самодовольно улыбаясь и поглядывая на редких прохожих, которые, в свою очередь, останавливались на тротуарах и смотрели вслед процессии.

В милиции за деревянным барьером сидел человек в красноармейской гимнастерке с кантами. Над головой его горела лампочка в зеленом железном колпаке. Перед барьером стоял милиционер в буденновском шлеме с красным щитом-кокардой и девочка в валенках. Между милиционером и девочкой стояла на полу корзина с подсолнухами. Девочка плакала, а милиционер размахивал своим красным милицейским жезлом и говорил:

– Умучился, товарищ начальник. Ее гонишь, а она опять. Ее гонишь, а она опять. Сегодня, вы не поверите, восемь раз с тротуара сгонял. Совести же у них нет, у частных капиталистов...

Он безнадежно махнул жезлом. Начальник усталым и неприветливым взглядом посмотрел на девочку.

– Патент есть? – спросил он.

Девочка еще громче заплакала и завывала:

– Не-е... я не буду, дяденька... Ей-богу, не буду...

– Отец жив?

– Уби-или...

– Мать работает?

– Без работы... Четвертый ме-есяц...

Начальник подумал, потер ладонью лоб.

– Ну иди, что ж, – сказал он невесело. – Иди, частный капиталист.

Девочка, как по команде, перестала плакать, встрепенулась, схватила корзинку и побежала к дверям.

Один из Ленькиных провожатых подошел к барьеру.

– Я извиняюсь, гражданин начальник. Можно?

– В чем дело?

– Убийцу поймали.

Начальник, сощутив глаза, посмотрел на Леньку.

– Это ты – убийца?

– Выдумают тоже, – усмехнулся Ленька.

Однако составили протокол. Пять человек подписались под ним. Оставили вещественное доказательство – нож, потолкались немножко и ушли.

Леньку провели за барьер.

– Ну, сознавайся, малый, – сказал начальник. – С кем был, говори!

– Эх, товарищ!.. – вздохнул Ленька и сел на стул.

– Встань, – нахмурился начальник. – И не думай отпираться. Не выйдет. С кем был? Что делал на лестнице? И зачем нож выбросил?

– Не выбросил, а сам выпал нож, – грубо ответил Ленька. – И чего вы, в самом деле, мучаете невинного человека? За это в суд можно.

– Я тебе дам суд! Обыскать его! – крикнул начальник. Два милиционера обыскали Леньку. Нашли не особенно чистый носовой платок, кусок мела, гребешок и ключ.

– А это зачем у тебя? – спросил начальник, указав на ключ.

Ленька и сам не знал, зачем у него ключ, не знал даже, как попал ключ к нему в карман.

– Я отвечать вам все равно не буду, – сказал он.

– Не будешь? Правда? Ну что ж. Подождем. Не к спеху... Чистяков, – повернулся начальник к милиционеру, – в камеру!..

Милиционер с жезлом взял Леньку за плечо и повел куда-то по темному коридору. В конце коридора он остановился и, открыв ключом небольшую, обитую железом дверь, толкнул в нее Леньку, потом закрыл дверь на ключ и ушел. Его шаги гулко отзвенели и смолкли.

И тут, когда Ленька остался один в темной камере и увидел на окне знакомый ему несложный узор тюремной решетки, а за нею – угасающий зимний закат, вся его напускная бодрость исчезла. Он сел на деревянную лавку и опустил голову.

«Теперь уж не отвертеться, – подумал он. – Нет. Кончено. И в школе узнают... и мама узнает».

В камере было тихо, только мышь возилась где-то в углу под нетопленной печкой. Мальчик еще ниже опустил голову и заплакал. Плакал долго, потом прилег на лавку, закутался с головой в шубейку, решил заснуть.

«А все-таки не сознаюсь, – думал он. – Пусть что хотят делают, пусть хоть пытаются, а не сознаюсь».

Лавка была жесткая, шубейка выношенная, тонкая. Переворачиваясь на другой бок, Ленька подумал:

«А хорошо все-таки, что это я попался, а не Вовка. Тот, если бы влип, так сразу бы все рассказал. Твердости у него нет, даром что опытный...»

Потом ему стало обидно, что Волков убежал, бросил его, а он вот лежит здесь, в темной нетопленной камере. Волков небось вернулся домой, поел, попил чаю, лежит с ногами на кровати и читает какого-нибудь Эдгара По или Генрика Сенкевича. А дома у Леньки уже тревожатся. Мать вернулась с работы, поставила чай, сидит, штопает чулок, посматривает поминутно на часы и вздыхает:

– Что-то Лешенька опять не идет! Не случилось ли чего, избави боже...

Леньке стало жаль мать. Ему опять захотелось плакать. И так как от слез ему становилось легче, он старался плакать подольше. Он вспоминал все, что было в его жизни самого страшного и самого горького, а заодно вспоминал и хорошее, что было и что уже не вернется, и о чем тоже плакалось, но плакалось хорошо, тепло и без горечи.

Глава 1

...Еще не было электричества. Правда, на улицах, в магазинах и в шикар­ных квартирах уже сверкали по вечерам белые грушевидные «экономические» лампочки, но там, где родился и подрастал Ленька, долго, почти до самой империалистической войны, висели под потолками старинные керосиновые лампы. Эти лампы были какие-то неуклюжие и тяжелые, они поднимались и опускались на блоках при помощи больших чугунных шаров, наполненных дробью. Однажды все лампы в квартире вдруг перестали опускаться и подниматься... В чугунных шарах оказались дырочки, через которые вся дробь пере­кочевала в карманы Ленкиных штанов. А без дроби шары болтались, как детские воздушные шарики. И тогда отец в первый и в последний раз выпорол Ленку. Он стегал его замшевыми подтяжками и с каждым взмахом руки все больше и больше свирепел.

– Будешь? – кричал он. – Будешь еще? Говори: будешь?

Слезы ручьями текли по Ленкиному лицу – казалось, что они текут и из глаз, и из носа, и изо рта. Ленька вертелся вьюном, зажатый отцовскими коленями, он задышался, он кричал:

– Папочка! Ой, папочка! Ой, миленький!

– Будешь?

– Буду! – отвечал Ленька.

– Будешь?

– Буду! – отвечал Ленька. – Ой, папочка! Миленький!.. Буду! Буду!..

В соседней комнате нянька отпаивала водой Ленкину маму, охала, крестилась и говорила, что «в Лешеньке бес сидит, не иначе». Но ведь эта же самая нянька уверяла, что и в отце сидит «бес». И значит, столкнулись два беса – в этот раз, когда отец порол Ленку. И все-таки Ленкин бес переборол. Убедившись в упорстве и упрямстве сына, отец никогда больше не трогал его ремнем. Он часто порол младшего сына, Васю, даже постегивал иногда «обезьянку» Лялю – всем доставалось, рука у отца была тяжелая и нрав – тоже нелегкий. Но Ленку он больше не трогал.

* * *

...Он делал иначе. За ужином, зимним вечером, детям дают холодный молочный суп. Это противный суп, он не лезет в глотку. (Даже сейчас не может Ленька вспомнить о нем без отвращения.)

У Васи и Ляли аппетит лучше. Они кое-как одолели свои тарелки, а у Ленки тарелка – почти до краев.

Отец отрывается от газеты. – А ты почему копаешься?

– Не могу. Не хочется...

– Вася!

Толстощекий Вася вскакивает, как маленький заводной солдат.

– А ну, пропиши ему две столовые ложки – на память.

Вася облизывает свою большую мельхиоровую ложку, размахивается и ударяет брата два раза по лбу. Наверно, ему не очень жаль Ленку. Он знает, что Ленька любимец не только матери, но и отца. Он – первенец. И потом – ведь его никогда не порют. А что такое ложкой по лбу – по сравнению с замшевыми подтяжками...

Между братьями не было дружбы. Скорее, была вражда.

Случалось, воскресным утром отец вызывает их к себе в кабинет.

– А ну, подеритесь.

– По-французски или с подножкой?

– Нет. По-цыгански.

Мальчики начинают бороться – сначала в обхватку, шутя, потом, очутившись на полу, забившись куда-нибудь под стол или под чехол кресла, они начинают звереть. Уже пускаются в ход кулаки. Уже появляются царапины. Уже кто-нибудь плачет.

Вася был на два года моложе, но много сильнее Леньки. Он редко оказывался побежденным в этих воскресных единоборствах. Леньку спасала ярость. Если он разозлится, если на руке покажется кровь, если боль ослепит его – тогда держись. Тогда у него глаза делаются волчьими, Вася пугается, отступает, бежит, плачет...

Отец развивал в сыновьях храбрость. Еще совсем маленькими он сажал их на большой платяной шкаф, стоявший в прихожей. Мальчики плакали, орали, мать плакала тоже. Отец сидел в кабинете и поглядывал на часы. Эти «уроки храбрости» длились пятнадцать минут.

Все это ничего. Было хуже, когда отец начинал пить. А пил он много – чем дальше, тем больше. Запой длились месяцами, отец забрасывал дела, исчезал, появлялся, приводил незнакомых людей...

Ночами Ленька просыпался – от грохота, от пьяных песен, от воплей матери, от звона разбиваемой посуды.

Пьяный отец вытворял самые дикие вещи. «Ивану Адриановичу пьяненькому – море по колено», – говорила про него нянька. Ленька не все видел, не все знал и не все понимал, но часто по утрам он с ужасом смотрел на отца, который сидел, уткнувшись в газету, и как-то особенно, жадно и торопливо, не поднимая глаз, прихлебывал чай из стакана в серебряном подстаканнике. Ленька и сам не знал почему, но в эти минуты ему было до слез жаль отца. Он понимал, что отец страдает, это передавалось ему каким-то сыновним чутьем. Ему хотелось вскочить, погладить отцовский ежик, прижаться к нему, приласкаться. Но сделать это было нельзя, невозможно, Ленька пил кофе, жевал французскую булку или сепик¹ и молчал, как и все за столом.

* * *

...Однажды зимой на масленице приехал в гости дядя Сережа. Это был неродной брат отца. Нянька его называла еще единоутробным братом (единоутробный – это значит от одной матери). Выражение это Леньке ужасно нравилось, хотя он и не совсем понимал, что оно означает. Ему казалось, что это должно означать – человек с одним животом, с одной утробой. Но почему эти слова относятся только к дяде Сереже, а не ко всем остальным людям, он понять не мог. Тем более что у дяди Сережи живот был не такой уж маленький. Это был толстый, веселый и добродушный человек, инженер-путеец, большой любимец детей.

Из Москвы он привез детям подарки: крестнице своей Ляле он подарил говорящую куклу, Васе – пожарную каску, а Леньке, как самому старшему, книгу – «Магический альманах».

Днем он ходил с племянниками гулять, катал их на вейке², угощал пирожками в кондитерской Филиппова на Вознесенском. После обеда, когда в детской уже зажигали керосиновую лампу, он показывал детям фокусы, которые у него почему-то никак не получались, хоть он и делал их на научной основе – по книге «Магический альманах».

За ужином были блины, и отец угощал брата шустровской рябиновкой. Вероятно, и после ужина что-нибудь пили. Детей уже давно уложили спать, и, когда они засыпали, из гостиной доносились звуки рояля и пение матери. Мать пела «Когда я на почте служил ямщиком». Это

¹ Сепик – род эстонского хлеба.

² Вейка – финн-извозчик в старом Петербурге.

была любимая песня отца, и то, что ее сейчас пела мать, означало, что отец пьян. Трезвый он никогда не просил и не слушал песен.

И опять, как это часто бывало, Ленька проснулся среди ночи – от грохота, от громкого смеха, от пьяных выкриков и маминых слез. Потом вдруг захлопали двери. Что-то со звоном упало и рассыпалось. В соседней комнате нянька вполголоса уговаривала кого-то куда-то сходить. Потом вдруг опять начались крики. Хлопнула парадная дверь. Кто-то бежал по лестнице. Кто-то противно, по-пороссячи визжал во дворе. В конюшне заржала лошадь. Ленька долго не мог заснуть...

А утром ни мать, ни отец не вышли в столовую к чаю. На кухне нянька шушукалась с кухаркой. Ленька пытался узнать, в чем дело. Ему говорили: «Иди поиграй, Лешенька».

В гостиной веселая горничная Стеша мокрой половой тряпкой вытирала паркет. Ленька увидел на тряпке кровь.

– Это почему кровь? – спросил он у Стеши.

– А вы подите об этом с папашей поговорите, – посоветовала ему Стеша.

Ленька пойти к отцу не осмелился. Он несколько раз порывался это сделать, подходил к дверям кабинета, но не хватало храбрости.

И вдруг неожиданно отец сам вызвал его к себе в кабинет.

Он лежал на кушетке – в халате и в ночных туфлях – и курил сигару. Графин – с водой или с водкой – стоял у его изголовья на стуле.

Ленька поздоровался и остановился в дверях.

– Ну что? – сказал отец. – Выспался?

– Да, благодагю вас, – ответил Ленька.

Отец помолчал, подымил сигарой и сказал:

– Ну, иди сюда, поцелуемся.

Он вынул изо рта сигару, подставил небритую щеку, и Ленька поцеловал его. При этом он заметил, что от отца пахнет не только табаком и не только вежеталем, которым он смачивал каждое утро волосы. Пахло еще чем-то, и Ленька догадался, что в графине на стуле налита не вода.

– Вы меня звали, папаша? – сказал он, когда отец снова замолчал.

– Да, звал, – ответил отец. – Поди открой ящик.

– Какой ящик?..

– Вот этот – налево, в письменном столе.

Ленька с трудом выдвинул тяжелый дубовый ящик. В ящике царил ералаш. Там валялись какие-то папки, счета, сберегательные книжки. Под книжками лежал револьвер в кожаной кобуре, зеленые коробочки с патронами, столбики медных и серебряных монет, завернутые в газетную бумагу, портсигар, деревянная сигарная коробка, пробочник, замшевые подтяжки...

– Да, я открыл, – сказал Ленька.

– Поищи там коробку из-под сигар.

– Да, – сказал Ленька. – Нашел. Тут лежат конверты и марки.

– А ну, посмотри, нет ли там чистой открытки. Есть, кажется.

Ленька нашел открытку. Это была модная английская открытка, изображавшая какого-то пупса с вытарашенными глазами и на тоненьких ножках, обутих в огромные башмаки.

– Садись, пиши, – приказал отец.

– Что писать?

– А вот я тебе сейчас продиктую...

Ленька уселся за письменный стол и открыл чернильницу. На почерневшей серебряной крышке чернильницы сидел такой же черный серебряный мальчик с маленькими крылышками на спине. Чернила в чернильнице пересохли и загустели – отец не часто писал.

– А ну, пиши, брат, – сказал он. – «Дорогой дядя Сережа!» Ты знаешь, где писать? Налево. А направо мы адрес напишем.

«Дорогой дядя Сережа, – писал под диктовку отца Ленька, – папаша наш изволил проспаться, опохмелиться и посылает Вам свои сердечные извинения. С утра у него болит голова и жить не хочется. А в общем – он плюет в камин. До свидания. Цалуем Вас и ждем в гости. Поклон бабушке. Любящий Вас племянник Алексей».

Выписывая адрес, Ленька поставил маленькую, но не очень красивую кляксу на словах «его благородию». Он испуганно оглянулся; отец не смотрел на него. Запрокинув голову, он глядел в потолок – с таким кислым и унылым выражением, что можно было подумать, будто сигарный окуроч, который он в это время лениво сосал, смазан горчицей.

Ленька приложил кляксапир, слизнул языком кляксу и поднялся.

– Ну что – написал? – встрепенулся отец.

– Да, написал.

– Пойдешь с нянькой гулять – опусти в ящик. Никому не показывай только. Иди.

Ленька направился к двери. Уже открыв дверь, он вдруг набрался храбрости, кашлянул и сказал:

– А что такое случилось? Почему это вы извиняетесь перед дядей Сережей?

Отец с удивлением и даже с любопытством на него посмотрел. Он привстал, крикнул, бросил в пепельницу окуроч, налил из графина в стакан и залпом выпил. Вытер усы, прищурился и сказал:

– Что случилось? А я, брат, вчера дурака сваял. Я твоего дядюшку чуть к Адаму не отправил.

Сказал он это так страшно и так нехорошо засмеялся при этом, что Ленька невольно попятился. Он не понял, что значит «к Адаму отправил», но понял, что вчера ночью отец пролил кровь единоутробного брата...

* * *

...Несколько раз в год, перед праздниками и перед отъездом на дачу, мать разбиралась в сундуках. Перетряхивались шубы, отбирались ненужные вещи для продажи татарину или для раздачи бедным, а некоторые вещи, те, которые не годились и бедным, просто выбрасывались или сжигались. Ленька любил в это время вертеться около матери. Правда, большинство сундуков было набито совершенно дурацкими, скучными и обыденными вещами. Тут лежали какие-то выцветшие платья, полуистлевшие искусственные цветы, бахрома, блески, аптечные пузырьки, дамские туфли с полуотвалившимися каблуками, разбитые цветочные вазы, тарелки, блюда... Но почти всегда среди этих глупых и ненужных вещей находилась какая-нибудь занятная или даже полезная штучка. То перочинный нож с обкусанным черенком, то ломаная машинка для пробивания дырочек на деловых бумагах, то какой-нибудь старомодный кожаный кошелек с замысловатым секретным замочком, то еще что-нибудь...

Но самое главное удовольствие начиналось, когда приходила очередь «казачьему сундуку». Так назывался на Ленькином языке сундук, в котором уже много лет подряд хранилась под спудом, засыпанная нафталином, военная амуниция отца. Это был целый цейхгауз³ – этот большой продолговатый сундук, обитый латунью, а по латуню еще железными скобами и тяжелыми коваными гвоздями. Чего только не было здесь! И ярко-зеленые, ломберного сукна⁴, мундиры, и такие же ярко-зеленые бекеши⁵, и белоснежные пышные папахи, и казачье седло, и

³ Цейхгауз – военный склад или кладовая для оружия и амуниции.

⁴ Ломберное сукно – сукно, которым обтягивают столы для карточной игры.

⁵ Бекеша – здесь: армейский меховой полушубок.

шпоры, и стремяна, и кривые казацкие шашки, и войлочные попоны, и сибирские башлыки⁶, и круглые барашковые шапочки с полосатыми кокардами, и, наконец, маленькие лакированные подсумки, потертые, потрескавшиеся, пропахшие порохом и лошадиным потом.

В этих старых, давно уже вышедших из употребления и уже тронутых молью вещах таилась для Леньки какая-то необыкновенная прелесть, что-то такое, что заставляло его при одном виде казацкого сундука раздувать ноздри и прислушиваться к тиканью сердца. Казалось, дай ему волю, и он способен всю жизнь просидеть на корточках возле этого сундука, как какой-нибудь дикарь возле своего деревянного идола. Он готов был часами играть с потускневшими шпорами или с кожаным подсумком, набивая его вместо патронов огрызками карандашей, или часами стоять перед зеркалом в круглой барашковой шапочке или в пушистой папахе, при этом еще нацепив на себя кривую казацкую саблю и тяжелый тесак в широких сырмятных ножнах. Эти старые вещи рассказывали ему о тех временах, которых он уже не застал, и о событиях, которые случились, когда его еще и на свете не было, но о которых он столько слышал и от матери, и от бабушки, и от няньки и о которых только один отец никогда ничего не говорил. Об этих же событиях туманно рассказывала и та фотография, на которую Ленька однажды случайно наткнулся в журнале «Природа и люди».

Молодой, улыбающийся, незнакомый отец смотрел на него со страниц журнала. На плечах у него были погоны, на голове – барашковая «сибирка». Ремни портупей перетягивали его стройную юношескую грудь.

Ленька успел прочитать только подпись под фотографией: «Героический подвиг молодого казацкого офицера». В это время в комнату вошел отец. Он был без погон и без портупей – в халате и в стоптанных домашних туфлях. Увидев у Леньки в руках журнал, он кинулся к нему с таким яростным видом, что у мальчика от страха похолодели ноги.

– Каналья! – закричал отец. – Тебе кто позволил копаться в моих вещах?!

Он вырвал журнал и так сильно ударил этим журналом Леньку по затылку, что Ленька присел на корточки.

– Я только хотел посмотреть картинки, – заикаясь, пробормотал он.

– Дурак! – засмеялся отец. – Иди в детскую и никогда не смей заходить в кабинет в мое отсутствие. Эти картинки не для тебя.

– Почему? – спросил Ленька.

– Потому, что это – разврат, – сказал отец.

Ленька не понял, но переспрашивать не решился.

Выходя из кабинета, он слышал, как за его спиной хлопнула дверца книжного шкафа и как несколько раз повернулся в скважине ключ.

* * *

Ленькин отец, Иван Адрианович, родился в старообрядческой петербургской торговой семье. И дед и отец его торговали дровами. Отчим, то есть второй отец, торговал кирпичом и панельными плитками.

Среди родственников Ивана Адриановича не было ни дворян, ни чиновников, ни военных: все они были старообрядцы, то есть держались той веры, за которую их дедов и прадедов, еще при царе Алексее Михайловиче, жгли на кострах. Триста лет подряд изничтожало и преследовало их царское правительство, а православная правительственная церковь проклинала, называла еретиками и раскольниками.

Поэтому старообрядцы, даже самые богатые, жили особенной, замкнутой кастой, отгородившись высокой стеной от остального русского общества. Даже в домашнем быту своем

⁶ Башлык – суконный остроконечный капюшон.

они до последнего времени держались обычаев и обрядов старины. В церковь свою ходили не иначе, как в долгополых старинных кафтанах, а женщины – в сарафанах и в беленьких платочках в роспуск. Женились и замуж выходили только в своей, старообрядческой среде. Учили детей в своих, старообрядческих школах. Ничего нового, иноземного и «прелестного» не признавали. В театры не ездили. Табак не курили. Чай, кофе не пили. Даже картофель не ели...

Правда, к концу XIX века, когда подрастал Иван Адрианович, все это было уже не так строго. Многие зажиточные старообрядцы начали отдавать детей в казенные гимназии. Кое-кто из московских и петербургских раскольников уже ездил потихоньку в театр, а там за бутылкой вина, глядишь, и сигару выкуривал...

Но все-таки это была очень скучная, мрачная и суровая жизнь, интересы которой ограничивались церковью и наживой.

Иван Адрианович учился в реальном училище. Монотонная домашняя жизнь и судьба, которая ожидала его впереди, не удовлетворяли его. Торговать ему не хотелось. Он понимал, что жизнь, которою жили его отцы и деды, не настоящая жизнь. Ему казалось, что можно жить лучше.

Недоучившись, он ушел из реального и поступил в Елисаветградское военное училище. Сделал он это против воли родителей – ему казалось, что он убегает из затхлого, полутемного склепа к широким, светлым просторам. Карьера военного мерещилась ему как что-то очень красивое, яркое, благородное, способное прославить и одухотворить.

Учился он хорошо. Училище окончил одним из первых. И так же хорошо, почти блестяще начал службу во Владимирском драгунском полку.

Но скоро и тут наступило разочарование. Офицерская среда оказалась не намного лучше купеческой. Не дослужив и до первого офицерского чина, Иван Адрианович уже подумывал об уходе в отставку.

Осуществить это временно помешало одно событие: грянула война. И опять, против воли родителей, молодой человек принимает решение: на фронт, на позиции, на маньчжурские поля, где громяют японские пушки и льется русская кровь. Кто знает, быть может, здесь он найдет тот жизненный смысл, ту цель, к которой он стремился и которой не мог до сих пор отыскать.

Часть, в которой служил Иван Адрианович, на войну не шла. С большими трудами удалось молодому корнету перевестись в Приамурский казачий полк. Он получил звание хорунжего, облачился в сибирскую казачью форму и с первым же эшелоном отправился на Дальний Восток.

И здесь, на полях сражения, он тоже показал себя как способный и отважный офицер. Конвоируемый небольшим казачьим разъездом, он должен был по приказу начальства доставить важные оперативные сводки в штаб русского командования. По дороге на казаков напал японский кавалерийский отряд. Завязалась перестрелка. Потеряв половину людей и сам раненый навывлет в грудь, Иван Адрианович отбил от неприятеля и доставил ценный пакет в расположение русского штаба. В первый день Пасхи, когда Иван Адрианович лежал в полевом лазарете, адъютант генерала Куропаткина привез ему боевой орден «Владимира с мечами». Получение этого ордена, который давался только за очень серьезные военные заслуги, делало его дворянином. Казалось, что перед Иваном Адриановичем открывается широкий заманчивый путь: слава, карьера, чины, деньги, награды... Но он не пошел по этому пути. Он не вернулся в полк. Война, которая стоила России так много крови, была проиграна. И Иван Адрианович, как и всякий честный русский человек, не мог не понимать, почему это случилось. Русская армия воевала под начальством бездарных и продажных царских генералов. И в тылу, и на фронте процветали воровство, подкуп, солдаты были плохо обучены, плохо снабжались и продовольствием, и боеприпасами. Служить в такой армии было не только бессмысленно, но и постыдно. Молодой хорунжий навсегда охладел к военной профессии. Кое-как залечив свою

рану, он облачился в штатский костюм и занялся тем делом, которым занимались и отец, и дед его и от которого ему так и не удалось убежать: он стал торговать дровами и барочным лесом. Сознание, что жизнь его разбита, что она повернулась не так, как следовало и хотелось бы, уже не оставляло его. Он начал пить. Характер его стал портиться. И хотя и раньше его считали чудачком и оригиналом, теперь он чудил и куролесил уже открыто и на каждом шагу. От этой дикой запойной жизни не спасла его и женитьба. Женился он, как и все делал, быстро, скоропалительно, не раздумывая долго. Увидел девушку, влюбился, познакомился, а через пять дней, позвякивая шпорами, уже шел делать предложение. Женился он без благословения матери, к тому же на православной, на «никонианке» – этим он окончательно восстановил против себя и так уже достаточно сердитую на него староверческую родню.

* * *

И сразу же начались раздоры. Может быть, уже на второй день после свадьбы Ленькина мать поняла, какую ужасную ошибку она совершила. Женихов у нее было много, выбор был большой, и незачем ей было идти за этого темнобрового казачьего офицера.

Александра Сергеевна тоже воспитывалась в купеческой семье. Но как непохожи были эти семьи! Как будто не в одном городе и не в одной стране жили они. Как будто на разных языках говорили.

Дома было всегда весело, шумно, оживленно. Даже мачеха, злая, как и все мачехи, не могла отравить этого вечного праздника.

Даже с мачехой ладила Шурочка: нрав у нее был ангельский – женихи, которые сватались за нее чуть ли не каждый месяц, не за приданым гнались и не красотой прельщались, а характером Шурочкиным. В гимназии Шурочку обожали, приказчики в магазине влюблялись в нее, дарили ей вскладчину букеты; цветы не успевали вянуть в маленькой Шурочкиной спальне.

Отсюда, из этой благоуханной оранжереи, смотрела она на мир, и ей казалось, что мир этот прост и прозрачен и что очень легко и приятно ступать по его прямым дорогам.

И жизнь не противоречила ей. Жизнь давала ей больше, чем ей полагалось, и расстилала перед ней половички, по которым и в самом деле шагало легко, мягко и бесшумно.

Талантами Шурочка не блистала, а кончила гимназию с серебряной медалью. Красотой не славилась и кокетством не отличалась, а покоряла сердца не на шутку, так что за одно лето на даче в Шувалове два студента и один коммерсант-петровец стрелялись из-за нее. Но и тут, как и всюду, судьба берегла Шурочку: как нарочно, все трое промахнулись, не оставив греха на Шурочкиной совести.

Жизнь была веселой – веселее не выдумаешь. Танцы, балы, благотворительные вечера, загородные поездки, любительские спектакли, пикники, опять танцы, опять вечера... Немудрено, если Шурочка и заскукала от такого веселья. И может быть, тем и понравился ей Иван Адрианович, двадцатый по счету жених, что не был он похож на других: не умел танцевать, не шутил, не каламбурил, был пасмурен и задумчив. А в летний безоблачный день и черная туча может порадовать. Александра Сергеевна не задумывалась. Да и некогда уже было задумываться, пришла пора выходить замуж, без конца отказывать женихам было нельзя.

И вот она покинула отцовский дом и переехала к мужу! И – словно дверь захлопнулась за ее спиной.

Там, за дверью, остались и смех, и цветы, и французские водевили, и загородные пикники, и веселые вечеринки с легким вином и студенческими остротами...

Словно в погреб, вошла она в эту чужую, не похожую на другие квартиру, где пахло грибами и сургучом, где хозяйничала суровая мужнина нянька, где даже в солнечный день было пасмурно и тоскливо, где даже иконы были какие-то необыкновенные – страшные, темные, с желтыми, исступленными ликами...

И черная туча, которая поманила ее своей прохладой, разразилась такой грозой, таким неожиданным свинцовым ливнем, о каких Александра Сергеевна и в книгах не читала.

Муж, с которым она не сказала до свадьбы и десяти слов, не открылся ей и после свадьбы. Очень скоро она решила, что он – плохой человек: пьяница, грубиян, деспот, иногда – почти зверь.

Она не могла думать иначе, потому что человек этот научил ее плакать: за всю свою девичью жизнь она не пролила столько слез, сколько пришлось ей пролить за один первый месяц в доме мужа.

При всем своем ангельском характере она не могла и приспособиться к мужу, найти с ним общий язык. Мешали ей молодость, неопытность, а чаще всего – просто страх. Ведь случалось, что она не могла выговорить слова в присутствии мужа. Иван же Адрианович, который по-своему любил жену, не мог объясниться с ней – из гордости, из упрямства, а также и потому, что с некоторых пор он действительно стал и грубым, и злым, и жестоким...

* * *

...Но всегда ли и со всеми ли был этот человек таким? Все ли хорошее было убито в нем жизнью, средой, пристрастием к водке? Неужели в этой больной душе не осталось ничего, кроме черствости и жестокости? За что же тогда так страстно любил, так горячо обожал его Ленька?

Нет, конечно. Было в этом большом, сильном и неудачливом человеке много такого, за что ему прощали грехи даже враги его и недоброжелатели.

Иван Адрианович был честен. Именно поэтому, вероятно, он никогда не мог научиться торговать. Даже маленькая неправда приводила его в ярость. Сам неподкупно-прямой, правдивый, расточительно-щедрый, он не терпел ни малейшего проявления фальши, скупости, низкопоклонства.

Был у него школьный товарищ Шаров. Много лет они дружили. Но как-то раз подвыпивший Шаров признался, что постоянно носит в кармане два кошелька: один для себя – с деньгами, а другой, пустой, для приятелей – на тот случай, если у него попросят займы. Иван Адрианович выслушал его, помолчал и сказал:

– Знаешь, братец... Уходи-ка ты отсюда.

– Куда? – удивился Шаров.

Иван Адрианович не ответил, встал и вышел из комнаты. Смущенный Шаров посидел, допил рюмку и ушел. С тех пор они никогда не встречались.

Однажды, когда Ленька был еще совсем маленький, возвращались они с отцом из бани. Дело было поздней осенью, уже выпал снег. На Фонтанке у Египетского моста подошел к ним полуголый, оборванный, босой парень.

– Подай копеечку, ваше сыкородие, – щелкая зубами, проговорил он, почему-то улыбаясь. Иван Адрианович посмотрел на молодое, распухшее и посиневшее лицо и сердито сказал:

– Работать надо. Молод еще христарadniчать.

– Я, барин, от работы не бегу, – усмехнулся парень. – Ты дай мне работу.

– Фабричный?

– Катель⁷ я... У Громовых последнюю баржу раскатали. Кончилась наша работа.

Ленька стоял рядом с отцом и с ужасом смотрел на совершенно лиловые босые ноги этого человека, которые, ни на минуту не останавливаясь, приплясывали на чистом белом снегу.

– Сапоги пропил? – спросил отец.

– Пропил, – улыбнулся парень. – Согреться хотел.

⁷ Катель – рабочий, перевозящий грузы на тачке.

– Ну и дурак. В Обуховскую попадешь, там тебя согреют – в покойницкой.

Парень все еще стоял рядом. Иван Адрианович сунул руку в карман. Там оказалась одна мелочь. Он отдал ее всю парню и пошел. Потом остановился, оглянулся. Парень стоял на том же месте, считал на ладони деньги. Голые плечи его страшно дергались.

– Эй ты, сыр голландский! – окликнул его Иван Адрианович.

Парень несмело подошел.

– На, поддержи, – приказал Иван Адрианович, протягивая Леньке черный клеенчатый саквояж. Потом расстегнул свою новенькую синюю бекешу, скинул ее с себя и набросил на голые плечи безработного.

– Барин... шутишь! – воскликнул тот.

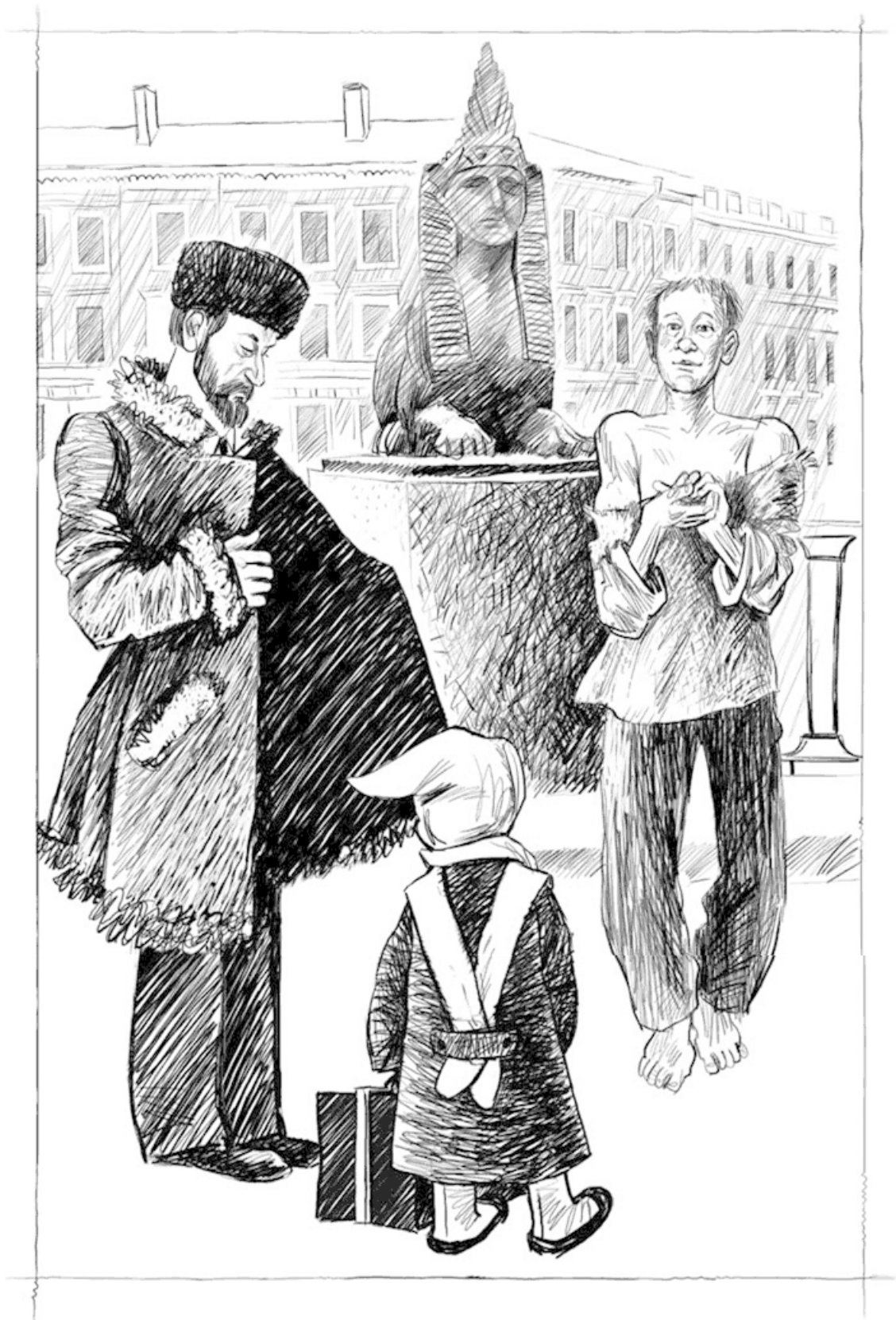
– Ладно, иди, – сердито сказал Иван Адрианович. – Пропьешь – дураком будешь. А впрочем, твое дело...

Дома ахали и ужасались – мать, горничная, нянька. А Ленька весь день ходил счастливый. Он сам не понимал, почему ему так хорошо, но весь день он боролся с желанием пойти к отцу, кинуться ему на шею, крепко расцеловать его, сказать ему, как горячо он его любит. Однако он не сделал этого – не мог и не смел сделать.

* * *

...Любил ли его отец? И вообще любил ли он кого-нибудь из близких – жену, мать, друзей? Ответить на этот вопрос мальчик не мог бы. Но то, что отец был способен на большую, сильную любовь, он знал.

Была в жизни этого человека привязанность, глубокая, трогательная и нежная.



Иван Адрианович расстегнул свою новенькую синюю бекешу, скинул ее с себя и набросил на голые плечи безработного.

Отцова нянька Лизавета умерла за два года до появления Леньки на свет. Он знал, что женщина эта, о которой никто, кроме отца, никогда не сказал доброго слова, вынянчила и

вырастила Ивана Адриановича. О том, что отец любил и продолжает любить ее, можно было и не говорить – это чувствовалось по всему, что делалось в доме. Гречневую кашу к обеду варили «как нянька Лизавета». Грибы солили и яблоки мочили «по-нянькиному». Между окнами на зиму выкладывали мох, а не вату – тоже «как при няньке Лизавете».

Портрета этой женщины в доме не было, Ленька никогда не видел ее и не мог видеть, но почему-то в памяти его и до сих пор хранится ее образ: высокая, прямая, с гордым, как у боярыни, лицом, красивая, больше, чем бабушка, похожая на отца...

Запомнился ему зимний день, когда в детскую вошел отец, постоял посреди комнаты, покачиваясь на носках, и спросил:

– Ты что делаешь?

– Так... ничего, – пробормотал Ленька. – Картинки разглядываю...

– Одевайся... поедem...

Ленька удивился и обрадовался. Отец редко брал его куда-нибудь с собой.

– А куда? – спросил он.

– На кладбище.

Ленька удивился еще больше. Отец никогда не ходил в церковь, никогда не ездил на кладбища – на могилы родных.

Усаживаясь в санки извозчика, он коротко приказал:

– На Громовское.

– Эх, барин. Даль-то какая! Оттуда и седока не подберешь. Полтинничек положьте.

– Ладно. Езжай!..

Хорошо помнится Леньке этот мягкий морозный день, окраинные питерские улочки, фабричные трубы, гудки паровозов на Варшавской дороге.

Долго они блуждают с отцом по заснеженным кладбищенским дорожкам. На широких восьмиконечных старообрядческих крестах сидят черные галки. В кустах бузины попискивают какие-то крохотные птички. Хорошо пахнет снегом, от тишины и безлюдья слегка замирает сердце.

Отец останавливается, снимает шапку. За чугунной решеткой – небольшой черный памятник. Наверху его маленький золоченый крестик, а под ним, на побелевшей от инея лабрадоритовой глыбе – три слова: «Нянѣ отъ Вани».

Ленька тоже стаскивает с головы свою ушастую шапку и искоса смотрит на отца. Он не узнает его. Какое у него мягкое, милое, доброе и помолодевшее лицо! Таким он видел отца, пожалуй, только однажды – в журнале «Природа и люди»... И вдруг он почти с ужасом замечает, что по этому лицу катятся слезы. У Леньки у самого начинают дергаться губы.

– Ну, идем, сыне, – говорит Иван Адрианович и, мелко покрестив грудь, надевает свою каракулевую шапку.

...Этот день, насыщенный зимним солнцем, сияньем февральского снега, начавшийся так славно и безмятежно, запомнился Леньке еще и потому, что кончился он, этот день, ужасно, дико и безобразно.

С кладбища поехали домой. Отец был веселый, шутил с извозчиком, называл его тезкой (потому что всех легковых извозчиков в Петербурге в то время называли почему-то «ваньками»)... С полдороги он вдруг раздумал и приказал ехать не в Коломну, а в другой конец города – на Большую Конюшенную, в универсальный магазин Гвардейского экономического общества.

Здесь они с Ленькой долго бродили по разным отделам и этажам. Отец выбирал себе галстук и запонки, купил матери брокеровских⁸ духов, а детям – маленькие, похожие на бутылочки, кегли.

Потом с этими покупками пошли в ресторан, который помещался тут же, в одном из этажей магазина.

Ленька никогда еще не был в ресторане. Все его здесь удивляло и занимало. И стриженные под машинку официанты в черных, как у кинематографических красавцев, фраках. И блеск мельхиоровой посуды. И особые, острые запахи ресторанной кухни, смешанные с запахами сигар и винного перегара.

Отец заказал обед: матросский борщ и бефстроганов. Ленька пил фруктовую ланинскую воду⁹ из маленькой, как кегля, бутылочки, а отец – шутовскую рябиновку. Ленька уже разобрался в этих вещах, он видел, что отец заказал вина слишком много: целую бутылку – высокую, граненую, похожую на колокольню католического костела.

С мороза отец быстро захмелел; сначала он шутил и посмеивался над Ленькой, потом вдруг сразу стал мрачный. От мягкого и добродушного выражения на его лице ничего не осталось. Он пил рюмку за рюмкой, закусывал черным хлебом, думал о чем-то и молчал.

Ленька не заметил, как за соседним столом появилась компания офицеров. Это были все молодые люди в красивой форме гвардейских кавалергардов.

Офицеры пили шампанское, чокались, провозглашали тосты.

Один из них, совсем молоденький, с белокурыми, закрученными кверху усиками, поднялся с бокалом в руке и громко, на весь ресторан, объявил:

– Господа! За здоровье государя императора!..

Иван Адрианович, который тоже в это время держал в руке налитую рюмку, повернулся на стуле, прищурился и насмешливо посмотрел на молодого кавалергарда. При этом он как-то чересчур громко кашлянул или хмыкнул. Все вокруг один за другим поднялись, а он сидел. Больше того – он не стал пить, а поставил рюмку – и даже отодвинул ее на самую середину стола.

– Эй вы... почтенный! – крикнул офицер. – Разве вы не слышите?

– Что? Вы ко мне? – спросил Иван Адрианович, и Ленька похолодел, увидев знакомый ему дикий огонек, блеснувший в глазах отца.

– Папаша... папаша... не надо, пожалуйста, – забормотал он.

– Я вас спрашиваю: разве вы не слышите, за чью особу провозглашен тост? – ерепенился кавалергард.

– Какую особу? – притворно удивился Иван Адрианович.

Из-за соседнего стола выскочил другой офицер.

– Мерзавец! Шпак! Сию же минуту встать! – заорал он, подскакивая к Ивану Адриановичу.

Иван Адрианович с грохотом отодвинул стол.

– Извольте... сейчас же... свои слова обратно, – каким-то очень тихим и страшным голосом проговорил он.

Ленька зажмурился. Он успел увидеть, как офицер замахнулся на отца, как отец поймал его руку... Что произошло дальше, он плохо помнит. Несколько человек накупились на отца. Ленька видел, как Иван Адрианович схватил со стула тяжелый пакет с кеглями и поднял его над головой. Он слышал звон, грохот, женский плач... В нос ему ударил острый запах духов. На несколько секунд он увидел лицо отца. Щека и висок у него были в крови.

Мальчик плакал, метался, хватал кого-то за руки...

⁸ «Брокáръ» – известная в дореволюционной России парфюмерная фирма.

⁹ Ланинская вода – фруктовый лимонад известной в дореволюционном Петербурге фирмы «Ланинские воды».

Что было дальше и как они добрались домой, он не запомнил. Смутно помнится ему, что ехали они на извозчике, что отец обнимал его и плакал и что от него остро, удушливо пахло водочным перегаром и гиацинтами. Наверно, это пахли раздавленные в свалке брокаровские духи.

Ночью Ленька долго не мог заснуть. Уткнувшись носом в подушку, он тихо плакал – от жалости к отцу и от ненависти к тем, кто его бил...

Уже много лет спустя, когда Ленька вырос, он понял, какой незаурядный человек был его отец и как много хорошего было погублено в нем, убито, задавлено гнетом той среды и того строя, в каких он вырос и жил...

После этого случая Иван Адрианович несколько дней не ночевал дома. Где он пропадал это время – Ленька так и не узнал. Впрочем, это и раньше бывало. Бывало и позже. Отец пил запоем.

* * *

Леньке было пять лет, когда мать его заболела. Это было нервное, почти психическое заболевание. Длилось оно шесть с половиной лет.

У матери болели зубы. И никто не мог вылечить ее. Ни один врач не сумел даже поставить диагноза и сказать, в чем дело. Она страдала, мучилась, ездила от одной знаменитости к другой. Не было, кажется, в Петербурге профессора, в приемной которого она бы не побывала. Пробовала она и гомеопатов, и гипнотизеров, и психиатров. Молилась. Делала вклады в монастыри. Ездила на богомолье. Обращалась к знахарям. Простаивала ночи в очередях у какого-то отставного генерала. Потом – у дворника в Измайловских ротах, который бесплатно лечил всех желающих заговором и куриным пометом.

Никто не помог ей – ни дворник, ни генерал, ни профессор Бехтерев, потому что никто не знал, что причина ее заболевания – неудачная семейная жизнь, нелады с мужем.

Слегка утоляло боль только одно лекарство – горький зеленоватый порошок, от которого пахло ландышем и чесноком. Этот запах преследовал Леньку в течение всего его детства.

Грустная, заплаканная мать с черной повязкой на щеке – первое его детское воспоминание. Она сидит у открытого рояля. И добрые руки ее лежат на клавишах.

Дети жили особняком, в детской, но и туда через кухарок и нянек доходили слухи и толки о неладах на родительской половине. Да и сам Ленька очень рано начал понимать, что мать и отец живут нехорошо. Он видел это. Он видел, как, забившись в подушку, плакала мать. Он видел отца, который с перекошенным от ярости лицом, не попадая руками в рукава, надевал в прихожей пальто и убегал, хлопнув парадной дверью. Поздно за полночь он возвращался. Хлопали пробки. Звенела посуда. Дрожащим от слез голосом мать пела: «Когда я на почте служил ямщиком...»

Бывало, что и матери приходилось убегать из дому. Это случалось, когда отец запивал особенно сильно. Иногда ночью, не выдержав, мать посылала горничную за извозчиком, прощалась с детьми и уезжала к сестре или к мачехе.

Случалось и так, что дети по несколько дней оставались одни с прислугой: мать и отец разъезжались, жили на разных квартирах.

Потом они снова сходились. Заключался мир. После бури наступало затишье. Иногда это затишье длилось неделями и даже месяцами. Тогда начиналась жизнь, как у других. Вели хозяйство. Принимали гостей. Сами ездили в гости. Занимались делами. Воспитывали детей. Ходили в театры...

В припадке нежности и раскаяния отец занимал денег и покупал матери какой-нибудь необыкновенный подарок: брильянтовую брошь, серьги или соболью муфту.

Но почти всегда получалось так, что уже через месяц эта брильянтовая брошь или муфта отправляются в ломбард, а деньги, полученные от залога, переходят в карманы петербургских рестораторов, виноторговцев и карточных шулеров.

Перемирие кончилось. Снова начинается война.

Отец запускает дела. Входит в долги. И все-таки пьет, пьет без просыпу...

Все чаще и чаще поднимаются разговоры о разводе. Доходит до того, что уже делят имущество. Делят детей.

Но с дележом ничего не выходит. Было бы детей двое или четверо – тогда ничего. Но разделить 3 на 2 без остатка невозможно. Кто-то из них, либо мать, либо отец, должен остаться с одним ребенком.

Эти разговоры происходят в присутствии Леньки. Он с ужасом прислушивается к этим препирательствам, к этим бесконечным спорам, во время которых решается его судьба. Он одинаково любит и мать, и отца и не хочет лишиться ни того ни другого. Но, на счастье, оказывается, что и отец не хочет развода. Он не дает матери денег. А своего у нее ничего нет. Приданое прожито. И она ничего не умеет делать. Разве что играть на рояле да вышивать крестиками по канве...

Мать мечется, ищет выхода...

Она начинает наводить экономию в хозяйстве, отказывает кухарке, пробует шить, готовить... Ни с того ни с сего – в поисках заработка и профессии – она вдруг начинает изучать сапожное ремесло. В ее маленькой уютной спальне, где красивая шелковая мебель, мягкие пуфики, ореховое трюмо, розовые портьеры, появляются странные вещи: молотки, шила, клещи, деревянные гвозди, вошенная дратва... Потом все это так же внезапно, как появилось, вдруг исчезает.

Мать ходит на курсы, учится, читает книги.

Но отец протестует. Он выбрасывает эти книги за окно. В нем просыпается дух его предков, раскольников. Женщине, бабе, не пристало заниматься науками. Дети, хозяйство, церковь – вот и весь мир, который ей уготован, – дальше не суйся.

Мать пробует смириться. Целые ночи напролет молится она перед зажженными лампадами. Долгие всенощные и заутрени простаивает она в окрестных церквях.

А зубы у нее по-прежнему болят. Черная повязка не сходит с ее похудевшего, осунувшегося лица. И по-прежнему, когда она целует на ночь детей, от нее пахнет чесноком и ландышем...

* * *

А Ленькина жизнь в это время идет своим чередом.

Он живет не совсем так, как полагается жить мальчику в его возрасте и в его положении. Поэтому он и не совсем похож на других детей.

Очень рано он выучился читать. Он пришел к отцу, сдвинул брови и сказал:

– Папаша, купите мне буквы!

Отец засмеялся, но обещал купить. На другой день он где-то раздобыл черные вырезные буквы, какие употребляются для афиш и аншлагов. Эти буквы наклеили на стену в детской, у изголовья Ленькиной постели. На следующее утро Ленька знал уже всю азбуку. А через несколько дней, во время прогулки с нянькой, он уже читал вывески: «пиво и раки», «зеленая», «булочная», «аптека», «участок».

Книг у него было немного. Единственную детскую книгу, которая ему попала, он через месяц зачитал до дыр. Называлась она «Рассказ про Гошу Долгие Руки». Некоторые слова в этой книге отец затушевывал чернилами, но так как Ленька был любопытен, он разглядел про-

ступавшие сквозь чернила печатные буквы. Зачеркнутые слова были «дурак» и «дура» – самые деликатные слова, которые употреблял отец, когда бывал пьян.

В кабинете отца стоял большой книжный шкаф. Из-за стеклянных дверок его выглядывали аппетитные кожаные корешки. Ленька давно с вождением поглядывал на эти запретные богатства. Однажды, когда отец на несколько дней уехал в Шлиссельбург по торговым делам, он забрался в кабинет, разыскал ключи и открыл шкаф. Его постигло страшное разочарование. Толстые книги в кожаных переплетах были написаны на славянском языке, которого Ленька не знал. Это были старые раскольничьи книги, доставшиеся отцу по наследству, никогда им не читанные и стоявшие в кабинете «для мебели».

Но там же в шкафу он наткнулся на целую кучу тоненьких книжечек в голубовато-серых бумажных обложках. Это было полное собрание сочинений Марка Твена и Чарльза Диккенса – бесплатное приложение к журналу «Природа и люди». Книг этих никто не читал – только «Том Сойер» был до половины разрезан. Ленька унес эти книги в детскую и читал украдкой в отсутствие отца. Разрезать книги он боялся – пробовал читать, не разрезая. С опасностью испортить глаза и вывихнуть шею он прочел таким образом «Повесть о двух городах» Диккенса. Но уже на «Давиде Копперфильде» он махнул рукой, принес из столовой нож и за полчаса разрезал всего Диккенса и всего Твена. Долгое время после этого он трепетал, ожидая расправы. Но отец не заметил исчезновения книг. Не заметил он и перемены, которая с ними произошла после возвращения в шкаф. Скорее всего, он даже и не помнил об их существовании.

Первые книги попались Леньке хорошие. Но дальше он читал уже без разбора, что попадется. Почти все книги, которые читала в это время мать, перечитывал потихоньку и Ленька. Таким образом, когда на восьмом году он пошел в приготовительные классы, он уже познакомился не только с Достоевским, Тургеневым и Мопассаном, но и с такими авторами, как Мережковский, Писемский, Амфитеатров, Леонид Андреев...

Читал он много, запоем. Брат и сестра называли его за глаза – Книжный шкаф.

Но паинькой Ленька никогда не был. Характерец у него был такой, что больше двух месяцев ни одна гувернантка не уживалась в доме. Где бы он ни был, куда бы ни шел, всегда с ним случалась какая-нибудь история: то ломает в магазине дорогую хрупкую вещь, за которую матери приходится расплачиваться из своего кошелька; то свалится на даче в яму с известью; или заблудится в лесу; или разобьет у соседей шар над цветочной клумбой...

Первый сын, любимец матери и отца, он еще в пеленках отличался характером, который называли «несносным», «ужасным», «деспотическим», а чаще всего «отцовским».

Даже отца пугало его упрямство. А о матери и говорить нечего. Когда на Леньку «нападал стих», она убегала в спальню, запиралась на ключ и плакала, уткнувшись в подушки.

Особенно трудно ей стало, когда отец окончательно покинул семью, оставив на ее руках всю троицу: и Леньку, и Васю, и Лялю. Расставшись с мужем, Александра Сергеевна не почувствовала свободы. Здоровье не улучшалось. Денег никогда не хватало. А тут еще Лешенька подрастал – непутевый, дикий, неукротимый... С каждым днем все больше и больше сказывался в нем отцовский характер. И все чаще и чаще восклицала измученная, отчаявшаяся мать: – Вторым Иваном Адриановичем наградил меня господь!..

Глава 2

Ленька уже давно спал. И слезы подсыхали на его угрюмом скуластом лице.

Сквозь черную, засыпанную снегом решетку смотрела в камеру холодная петроградская луна. Было тихо. Только мыши скреблись да погукивал ветер в большой, давно не топленной железной печке.

Сколько раз приходилось Леньке вот так же, согнувшись калачиком и прикрывшись рваной солдатского сукна шубейкой, ночевать на деревянных узеньких лавках – в железнодорожных чека, в отделениях милиции, в пикетах, в комендатурах!..

Давно уже спрашивался он и с мягкими перинами, и с коротенькими штанишками, и с матросскими блузками. Как далеко это все! Как не похож этот грязный, оборванный парень на чистенького первоклассника-реалиста¹⁰, который читал еженедельный журнал «Задушевное слово», учил закон божий, ездил с мамашей в гости, шаркал ножкой и целовал ручки у тетешек...

Разве не целая вечность отделяет его от того памятного дня, когда пришла в гости нянька, уже не служившая в доме, уже не нянька, а «бывшая нянька», – пришла заплаканная, развязала ситцевый в крапинку узелок с орехами и зелеными недозрелыми сливами и, поклонившись, сказала:

– Вот, прими, Лешенька, гостинчика – на сиротскую долю.

Ленька не сразу понял, что это значит – «гостинчик на сиротскую долю».

Еще совсем недавно он писал под диктовку матери письмо отцу, который работал во Владимире, на лесных заготовках у лесопромышленника Громова.

«Дорогой папаша, – писал он. – Поздравляю Вас с днем Вашего Ангела и желаю Вам всего наилучшего. Я учусь хорошо, по русскому языку имею пятерку с плюсом. Мы все здоровы. Ждем Вас к себе в гости. Мамаша Вам кланяется и желает здоровья...»

И вот говорят, что отца уже нет, что он умер.

Он умер где-то далеко, на чужбине. Не было ни похорон, ни поминок, ни семейного траура. Он уехал и не вернулся. И Леньке долго думалось, что, может быть, это ошибка, что когда-нибудь звякнет в прихожей звонок, он выбежит на этот звонок и в облаке пара увидит знакомую, чуть сгорбленную фигуру – в серых высоких валенках, в заснеженном полушубке и в светло-коричневом мохнатом сибирском башлыке с серебряной кисточкой на макушке...

Осенью он перешел во второй класс приготовительного училища. Это был третий год войны. Война уже перестала быть интересной, и Леньке уже давно расхотелось бежать на фронт. В начале войны он пробовал это сделать: собрался, насушил сухарей, достал из «казацкого сундука» саблю и кожаный подсумок, даже написал домашним письмо. Но убежать ему удалось очень недалеко – поймали его на лестнице, на второй площадке.

Теперь даже играть в войну было скучно. Еще год тому назад Ленька писал стихи:

Бомба, как с неба упала,
Тут вот она и летит.
Бедный, о бедный солдатик –
Тот, в кого будут палить...

Теперь ему даже вспомнить было стыдно, что он занимался такими пустяками. Всю эту осень он писал приключенческие рассказы и большой авантюрный роман, в котором участ-

¹⁰ Реалист – здесь: ученик реального училища.

вовали цыгане, разбойники, контрабандисты и сыщики и который назывался таинственно и страшно – «Кинжал спасения».

Но зима выдалась веселая.

Первую весть о надвигающихся переменах принес Леньке крестный брат его Сережа Крылов по прозвищу Бутылочка. Мальчик этот принадлежал к числу тех «бедных», которые особенно щедро одаривались перед праздниками подержанными вещами из казачьего и других сундуков. Родная мать Бутылочки – пожилая поденщица Аннушка – с незапамятных времен ходила в дом мыть полы и убирать квартиру. Ленькиным же братом Сережа считался потому, что Александра Сергеевна когда-то крестила его, была его восприемницей¹¹. Бутылочка был года на полтора старше Леньки и выше его на голову, однако умудрялся каким-то образом очень долго донашивать Ленькины штаны и матросские куртки. Застиранные, выцветшие, с потеками синьки в самых неподобающих местах, эти старые вещи плотно облегали сухопарую фигурку мальчика, который и сам казался Леньке каким-то застиранным и выцветшим. Даже на лице его, очень бледном и некрасивом, то тут, то там проступали синие пятна. Это не мешало Леньке любить Сережу и радоваться, когда тот неожиданно-негаданно, раза два-три в год, появлялся – откуда-то издалека, из-за Обводного канала, с таинственной Везенбергской улицы...

Когда-то давно, когда ребята были еще совсем маленькие, Аннушка привела Сережу поздравить крёстную мать с днем ангела. Мальчики весь день просидели на подоконнике в детской, с увлечением играя в неизвестно кем выдуманную игру: натаскали откуда-то склянок и пузырьков и изображали аптеку. До вечера они по очереди продавали друг другу пластыри, горчичники и касторку, а вечером на парадной заверещал звонок и через минуту послышался ликующий вопль маленького Васи:

– Гости приехали!..

В прихожей уже слышался смех и голоса Ленькиных двоюродных братьев и сестер. Пора было кончать игру. Сережа, который до этого был весел и оживлен, замолчал, заскучал, глаза его наполнились слезами, и, склонив по-старушечьи голову, он жалобно и как-то нараспев протянул:

– Гости придут – все бутылочки побьют...

С тех пор и осталось за ним это прозвище – Бутылочка. Теперь Бутылочка учился уже во втором классе городского четырехклассного училища, ходил в фуражке, говорил хрипловатым голосом, и, когда, здороваясь, целовался с Ленькой, от него пахло чем-то очень взрослым и очень знакомым; так пахло когда-то в кабинете отца и в дачных вагонах с надписью «для курящих».

На святках Бутылочка был у Леньки в гостях. Мальчики пошумели, поиграли, потом забрались с ногами на стулья и долго разглядывали картинки в журналах. В одном из журналов была напечатана фотография: Николай II на фронте награждает группу солдат Георгиевскими крестами. Сережа прочитал подпись под картинкой, помолчал, усмехнулся и сказал:

– Скоро ему полный каюк будет.

– Кому? – не понял Ленька.

– А вот этому, – ответил Бутылочка и не очень почтительно потыкал пальцем в самую физиономию царя.

– Почему каюк? – опешил Ленька.

– А вот потому...

Худенькое лицо Бутылочки стало серьезным и даже зловещим.

– Побожись, что никому не скажешь.

– Ну?

¹¹ Восприёмница – крёстная мать при обряде крещения.

- Что «ну»? Ты не нукай, а ты побожись.
- Божиться грех, – сказал, поколебавшись, Ленька.
- Ну ладно, можешь не божиться. Скажи тогда: «честное слово».
- Честное слово.
- «Никому не скажу»...
- Никому не скажу.
- И крёстненькой не скажешь?
- И крёстненькой...

Тогда Бутылочка оглянулся, вытаращил глаза и зашипел:

– Царица у нас шпионка. Не веришь? Какая? А вот такая – Александра. Она через Распутина все военные тайны своим немцам передавала...

– А цагь? – прошептал Ленька, бледнея от одного сознания, какую страшную тайну он на себя берет.

– И царь тоже хорош. Вот увидишь, скоро они все полетят кверху кармашками... Только ты, Леша, смотри никому не говори.

– Я не скажу, – пробормотал Ленька.

Однако беречь Сережину тайну Леньке пришлось очень недолго. В феврале застучали в городе пулеметы, замелькали красные флаги, банты. Новое слово – «революция» – ворвалось в Ленькину жизнь.

Свергнутого царя ему не было жаль. В первый же день, отправляясь в училище, он нацепил на фуражку красную ленточку.

Царя не стало, появилось правительство, которое называлось Временным, но в Ленькиной жизни и в жизни его семьи мало что изменилось.

Мать бегала по урокам. Как и прежде, к ней приходили ученики – большей частью маленькие девочки с огромными черными папками «Мюзик». Девочки без конца разучивали гаммы и упражнения – мешали заниматься, читать, учить уроки. Зубы у матери по-прежнему болели. И по-прежнему в комнатах пахло чесноком и ландышем.

А в городе и в стране уже ни на минуту не утихал свежий ветер. Конечно, Ленька не понимал и не мог понять всего, что происходит в мире. Ему в то время не было еще девяти лет. Он видел, что начавшаяся в феврале веселая жизнь – со стрельбой, флагами, пением «Марсельезы» и «Варшавянки» – продолжается. А разобраться во всем этом – почему стреляют, почему поют, почему шумят и ходят под окнами с красными флагами – он не мог, хотя жадно прислушивался ко всем разговорам и давно уже с увлечением читал газеты, которые в тот год плодились как грибы после хорошего дождя. Газеты были с самыми удивительными названиями. Была газета «Копейка», которая и стоила всего одну копейку. Была газета «Черное знамя». Выходила даже газета, которая называлась «Кузькина мать».

В газетах и в разговорах взрослых то и дело мелькали новые, не знакомые Леньке слова: «манифестация», «милиция», «пролетариат», «оратор»...

Летом Ленька впервые услышал слово «большевик».

В городе готовились к выборам в Учредительное собрание. Стены домов, заборы, фонарные столбы, афишные тумбы, ворота – все, на чем можно было наклеить клочок бумаги, было сверху донизу залеплено предвыборными плакатами разных партий. Партий этих было так много, что не только Ленька, но и не каждый взрослый мог без усилий разобраться в их направлениях и программах. И все-таки нашлась одна партия, которая сразу же, уже одним названием своим завоевала Ленькино сердце. Эта скромная партия, шедшая в предвыборных списках под номером 19, именовалась «партией казаков». Весьма вероятно, что где-нибудь на Дону или Кубани, в казачьих станицах, у этой партии были и вожди, и последователи, но можно поручиться, что в столичном городе Петрограде не было у нее более яркого приверженца и более страстного пропагандиста, чем этот вихрастый и низкорослый ученик второго приготовитель-

ного класса. Может быть, Ленька вспомнил, что отец его был хорунжим сибирского казачьего полка; может быть, сыграло тут роль очарование «казачьего сундука», может быть, самое слово «казак», знакомое по «Тарасу Бульбе», по мальчишеской игре в «казаки-разбойники», покорило и вдохновило его... Как бы то ни было, но этот мальчик, в жилах которого не было ни одной капли казачьей крови, вдруг самочинно объявил себя казаком и членом казачьей партии. Сам он голосовать еще не мог, зато делал все, чтобы увеличить число голосующих за «свою» партию. Он приставал ко всем взрослым с просьбой отдавать голоса за список № 19. Он написал от руки несколько десятков плакатиков: «Голосуйте за партию казаков № 19» – и мужественно, побеждая стыд и застенчивость, развесил эти воззвания с помощью кнопок и гуммиарабика¹² на стенах и заборах соседних домов. Обнаружив, что у казачьей партии нет своего печатного органа, он задумал издание газеты, которая называлась «Казачья быль» и под заглавием которой стояло: «Орган партии казаков № 19». Он даже вывесил на Фонтанке, у Английского пешеходного мостика, объявление, в котором сообщалось, что принимается подписка на «Казачью быль», орган партии казаков № 19... Два дня после этого Ленька с трепетом прислушивался к звонкам, ожидая наплыва подписчиков... На его счастье, подписчиков почему-то не оказалось.

* * *

...Однажды он зашел в «темненькую», в комнату, где жила Стеша, уже второй год жившая у Александры Сергеевны «за горничную и кухарку».

Стеша сидела на кровати и штопала чулок.

– Стеша, скажите, пожалуйста, – сказал Ленька, – вы в Учредительное собрание голосовать будете?

– А что ж... Почему? И буду, – засмеялась Стеша. – Все будут, и я буду.

– А вы за кого будете голосовать?

– А это, Лешенька, мое дело. Об этом не спрашивают. Это называется – тайна избирателя.

– Хотите, я скажу, за кого вам голосовать? – сказал Ленька. И, оглянувшись, шепотом договорил: – Вы за девятнадцатый номер, за пагтию казаков голосуйте.

– Вот еще! – усмехнулась Стеша. И, так же оглянувшись, таким же таинственным шепотом сказала: – А если я, представьте, за четвертый хочу?

– Какой это четвертый?

– Не знаете? Это партия большевиков называется.

– Как?.. Большевиков? Каких большевиков?

– А вот таких. Не слышали? Это наша партия. Рабочая. И, выдвинув из-под кровати свой маленький деревенский сундучок, где хранилось все ее небогатое имущество – ситцевые платья, платки, башмаки, банки с помадой, пустые коробки из-под конфет, пастилы и мармелада, – Стеша порылась в нем и достала сложенный вчетверо плакат, на котором был изображен усатый широкоплечий человек в черной кепке, державший в поднятой мускулистой руке белый конверт с надписью «№ 4».

«Эх, жалко я не нарисовал ничего на своих плакатах», – подумал Ленька. Он представил, какого замечательного усатого и чубатого казака с пикой наперевес можно было бы изобразить на плакате. Но теперь было поздно этим заниматься.

Укладывая на место вещи, Стеша уронила на пол какую-то фотографию. Ленька поднял ее. На толстой, пожелтевшей, с обломанными углами карточке довольно большого, «кабинетного» размера был изображен высокий усатый человек в черной, похожей на круглый пирог

¹² Гуммиарабик – клей на основе смолы акации.

барашковой шапке и в длинном, наглухо застегнутом зимнем пальто с таким же барашковым воротником.

– Кто это? – спросил Ленька.

– Да это ж мой брат, Лешенька, – с улыбкой ответила Стеша.

– У вас разве есть богат? – удивился Ленька.

– Есть, детка.

– А где же он?

Стеша вздохнула.

– Далеко, Лешенька. Он до войны шесть лет в Сормове жил, на паровозном заводе работал. А сейчас – на войне, на фронте.

Человек на фотографии был чем-то похож на рабочего с плаката: такие же усы, такие же сильные широкие плечи.

– Он тоже большевик? – спросил Ленька.

Стеша не ответила.

Ленька еще раз посмотрел на карточку, посмотрел на Стешу.

– Вы не похожи, – сказал он.

– Ну вот, – обиделась девушка, отнимая у Леньки фотографию. – Очень даже похожи. Только что разве усов у меня нету...

...Предвыборная борьба, в которую так неожиданно включился Ленька, отвлекла его от занятий, более подходящих его возрасту и положению. Осенью он должен был держать вступительные экзамены в реальное училище. Готовился он кое-как, наспех, в середине лета захворал коклюшем и месяц с лишним провалялся в постели. Неудивительно, что, когда пришла пора идти на Восьмую роту в мрачное казенное здание 2-го Петроградского реального училища, Ленька чувствовал себя не очень уверенно. Русский язык и закон божий он знал лучше, волновался главным образом за арифметику. Но именно здесь, на этом нелюбимом предмете ожидал его триумф, к которому он никак не был подготовлен.

Маленький, похожий на чижику человек (впоследствии оказалось, что фамилия его Чижев, а прозвище Чиж) подергал козлиную бородку, ехидно посмотрел на мальчика из-под золотых очков и сказал:

– А нуте-с, молодой человек. Подойдите ближе. Руки из карманов выньте. Так. Скажите: что будет тяжелее – пуд сена или пуд железа?

На Ленькино счастье, он слышал когда-то эту шуточную задачу. Но как она решается, он забыл.

«Железо, конечно, тяжелее, – подумал он. – Но тут какой-то подвох, тут что-то наоборот...»

И, собираясь перехитрить экзаменатора, он уже хотел сказать: «Конечно, пуд сена тяжелее». Но взглянул на Чижику, который смотрел на него, посмеиваясь и накручивая жидкую бороденку на блестящую пуговицу вицмундира, вовремя спохватился и хриплым голосом, громко, по-солдатски ответил:

– Пуд пудом и будет.

– Молодец. Соображаешь, – осклабилась Чиж, показывая прокуренные зубы. – Можешь идти. Выдержал.

На следующее утро, явившись с матерью к подъезду реального училища, Ленька увидел свою фамилию второй в списке выдержавших приемные испытания в первый класс. Впоследствии он узнал, что эту задачу про сено и железо Чиж задает на экзаменах почти всем поступающим. И даже самые способные и сообразительные редко отвечали правильно. Где же тут, в самом деле, сообразить, что сено и железо весят одинаково, если в эту минуту у тебя все поджилки трясутся, если перед носом твоим страшно блестят очки экзаменатора, сверкают

пуговицы и ордена на его парадном мундире, если ты чувствуешь себя таким маленьким и потерянным в этой огромной зале с высокими казенными окнами и с пустой золоченой рамой на стене, в которой еще совсем недавно стоял во весь свой невысокий рост самодержец все-российский, государь император Николай II.

* * *

Первого сентября, облачившись в новенькую черную шинель и в черную, с оранжевыми кантами фуражку, затянувшись кожаным поясом, на мельхиоровой пряжке которого были выгиснены буквы «2 ПРУ», Ленька отправился на молебен и на первый урок в училище.

Он плохо запомнил, как и чему учили его в реальном училище. Запомнился ему небольшой полутемный класс, высокая желтая учительская кафедра, сосед его по парте – сын книго-торговца Тузова, которого учителя почему-то называли Тузов-второй; моложавый красивый священник-законоучитель, на каждом шагу говоривший «конечно» и «так сказать»; учитель словесности Бодров, которого почтительно именовали писателем, потому что у Бодрова была своя книга – собрание пословиц и поговорок; инспектор Чиж и директор Дуб... Но вспомнить себя сидящим в классе, отвечающим урок или стоящим у доски или у карты Ленька не может. Гораздо лучше помнятся ему перемены. Перемен было даже как будто больше, чем уроков. Запомнились ему длинные училищные коридоры, по которым с криками «ура» носятся ученики младших классов; запомнилась большая уборная, где в клубах табачного дыма с утра до окончания уроков шумят реалисты-старшеклассники.

Спорят, ругаются, чуть не дерутся. Только и слышно:

– Большевики... Меньшевики... Эсеры... Мир без аннексий и контрибуций... Предатели... Оборонцы... Вешать вас надо!..

Ленька ничего не понимает, но стоит, слушает, хотя от папиросного дыма его давно тошнит и голова кружится.

Распахивается дверь, и в туалетную врывается еще одна партия реалистов. Большеголовый, стриженный под машинку пятиклассник Дембо, любимец малышей, вскакивает на самое возвышенное место и, размахивая, как митинговый оратор, руками, кричит, перекрывая своим басовитым голосом остальные голоса:

– Товарищи, внимание! На нас идет Германия! Устроимте по этому случаю собрание...

Его с хохотом стаскивают с «трибуны», начинается потасовка.

Давно уже прозвенел звонок, но на уроки никто не спешит. Леньке кажется, что старшеклассники вообще не занимаются. Как ни войдешь в туалетную – они всегда тут, всегда шумят и спорят.

Эти споры и потасовки продолжаются и на улице. Здесь самое интересное – драки с гимназистами, воспитанниками казенной мужской гимназии, помещавшейся рядом, в одной из соседних рот. Гимназисты – старые, вековые враги реалистов – «аристократы», «серошнелики», «мышинные хвостики», как зовут их презрительно реалисты.

Побоища происходят на широком Троицком проспекте перед казармами Измайловского полка, где по утрам маршируют солдаты-призывники и обучаются езде на мотоциклетах молодые подпрапорщики из автороты...

* * *

...Домой Ленька возвращается поздно. Идет он мимо разбитого и сожженного здания полицейского участка, мимо немецкой булочной Венцеля, у дверей которой с утра до вечера стоят теперь длинные очереди женщин, мимо кинематографа «София», мимо аптекарского

магазина Васильевой, зеркальная витрина которого еще в феврале пробита шальными винтовочными пулями...

А дома все то же. Из комнаты матери доносятся жиденькие звуки рояля. Очередная девочка с косичками разучивает гаммы и экзерсисы. Мать лениво отбивает такт и скучным, усталым голосом отсчитывает:

– И раз, и два, и три... И раз, и два, и три...

В детской комнате Вася и Ляля играют в цыган. Устроили из табуреток и стульев фургон, завесились старым маминым шерстяным платком, притаились в этом таинственном полумраке и, покрикивая «гэй, гэй», едут, кочуют по степным просторам...

«Тоже! Нашли развлечение», – с презрительной усмешкой думает Ленька. Он проходит к своему столу, бросает ранец. Надо бы отдохнуть и садиться за уроки, но на свете есть вещи и поинтереснее уроков. Книги!..

До вечера он сидит, согнувшись над толстым томом и заложив пальцами уши, жадно пожирает страницу за страницей, половины не понимая или понимая по-своему, замирая от ужаса и восторга, глотая слезы, всем существом своим растворяясь в этом созданном чужой фантазией мире.

А Вася и Ляля давно уже кончили играть, давно стоят за Ленькиной спиной и, переглядываясь, прижимая к губам пальчики, набираются храбрости, готовятся к излюбленной своей шалости.

Им и страшно и весело, и хочется и боязно. И вот наконец кто-нибудь из них – или оба вместе – осторожно, кончиками указательных пальцев дотрагиваются до Ленькиного затылка. Ленька вскакивает, словно в него электрический ток пустили. На лице его – ярость. Вася и Ляля уже кинулись наутек. Они уже и сами не рады, что позволили себе эту невинную шутку. Через минуту из детской доносится пронзительный рев. Мать и Стеша вбегают в комнату и видят, как вся троица кубарем катается по полу. Визжит Ляля, басом ревет толстощекий Вася и хрипит, задыхается позеленевший от бешенства Ленька.

* * *

...Ленькины товарищи по классу, как и большинство ребят того времени, увлекались так называемой приключенческой, «сыщицкой» литературой. Читали и зачитывали до дыр аляповато-пестрые выпуски «Ната Пинкертон», «Ника Картера», «Шерлока Холмса»... После Февральской революции этих книжек развелось еще больше. Ленька никогда не был поклонником этой копеечной уличной литературы, хотя, поддавшись моде, пробовал и сам писать приключенческие рассказы. Его тянуло к более серьезным книгам. На этой почве он подружился в училище с реалистом Волковым.

Это был худенький, бледнолицый и черноглазый мальчик, серьезный, неразговорчивый, даже высокомерный. Единственный в классе, он носил под суконным воротником казенной тужурки белый полотняный. В первый же день занятий Волков подошел к Леньке и спросил:

– Ты любишь учиться?

– Нет... не очень, – честно ответил Ленька.

– Но ведь ты выдержал экзамен вторым?

– Ну и что ж, – сказал Ленька.

– Значит, ты способный.

– Ну почему... Пгосто повезло, – скромно ответил Ленька и рассказал про историю с сеном и железом.

Волков помолчал, сдвинул к переносице тонкие брови и сказал:

– Я выдержал одиннадцатым. И то я счастлив. А если бы я был первым или вторым, я бы витал, вероятно, на седьмом небе.

Леньке почему-то понравилось это «седьмое небо». Все чаще и чаще он стал заговаривать с Волковым. Оказалось, что и тот «терпеть не может» уличной литературы. Он читал Плутарха и сказки Топелиуса.

– Кто твой отец? – спросил однажды Волков.

– У меня нет отца, – ответил Ленька.

– А кем он был?

Ленька почему-то постеснялся сказать, что отец его умер приказчиком.

– Он был офицером, – сказал он и покраснел, хотя сказал правду. – А твой отец кто? – спросил он из вежливости. Он был уверен почему-то, что Волков ответит: князь или барон. Но Волков сказал, что отец его инженер, владелец технической конторы «Дизель».

– Знаешь что? – сказал он через несколько дней. – Приезжай ко мне в воскресенье в гости. Я уже говорил с мамой. Она позволила.

– Ладно, пгидеу, – сказал Ленька.

– Не «ладно», а «хорошо», – поправил его Волков.

Ленька и сам знал, что говорить «ладно» некрасиво. Так его учили когда-то мама и гувернантки. Но в реальном все говорили «ладно», это было и ловчее, и как-то больше по-мальчишески. Кроме того, в слове «ладно» не было буквы «р», употреблять которую Ленька всячески избегал.

– Хогошо, пгидеу, – мрачно повторил он.

– Я заеду за тобой.

– Ладно... хорошо, – сбился Ленька.

Волков ему нравился, но вместе с тем было в этом серьезном, никогда не улыбающемся мальчишке что-то такое, что пугало и отталкивало Леньку. В присутствии Волкова он немножко стеснялся и робел.

И уже совсем оробел он, когда в ближайшее воскресенье, после обеда, раздался звонок и почти тотчас в детскую вкатился румянощекий Вася и, задыхаясь от смеха, прокричал:

– Леша... Леша... тебя какой-то господинчик спрашивает!

– Какой господинчик? – удивился Ленька.

Вася не мог говорить от хохота.

– Там... в передней... стоит...

Ленька захлопнул книгу и побежал в прихожую.

У парадной двери в прихожей стоял Волков.

Но что это был за Волков! Он был не в шинели, а в сером демисезонном пальто-реглан. В руках он держал шляпу и тросточку. Пальто его было распахнуто, и оттуда выглядывали крахмальный воротничок, галстук и перламутровые пуговицы жилета.

Это был джентльмен, денди, рисунок из модного журнала, а не девятилетний мальчик.

Ленька смотрел на него с открытым ртом.

– Ты готов? – спросил у него Волков.

Ленька молча кивнул. За спиной его жались и давились от смеха Вася и Ляля.

– Это что за мелюзга? – спросил Волков.

Ленька, случалось, и сам называл Васю и Лялю мелюзгой, но тут он почему-то обиделся.

– Это мои бгат и сестга, – ответил он, нахмурясь.

Александра Сергеевна, сдерживая улыбку, смотрела на маленького господина.

– Вы где живете, голубчик? – спросила она Волкова.

– На Екатерингофском, сударыня, – ответил он.

– Ну, это недалеко. На каком же номере вы с Лешей поедете?

– На трамвае? – удивился Волков. – Я на трамвае никогда не ездил. Меня ждет экипаж.

– У вас свой выезд?!

– Да, мадам, – ответил по-французски Волков и шаркнул ножкой.

Никогда еще Ленька не чувствовал такой связанности и скованности, как в этот раз. Почему-то ему вдруг стало стыдно смотреть в глаза матери, брату и сестре. Ему вдруг неудобно стало называть Волкова на ты.

Застегивая на ходу шинель, он спускался вслед за Волковым по узенькой темной лестнице, мрачно и односложно отвечал на вопросы товарища, а сам думал: стоит ли ехать? не вернуться ли?

На улице, у ворот, дожидался Волкова шикарный экипаж. Английский рысак, начищенный до зеркального блеска, высокий, статный, с забинтованными для пущего шика ногами, нетерпеливо бил копытом. Толстый кучер в цилиндре, натягивая синие вожжи, не шелохнувшись сидел на козлах.

– Прошу, – сказал Волков, открывая лакированную дверцу.

Леньке приходилось ездить на конках, в трамваях, на извозчиках. Один раз, в раннем детстве, он ездил – на крестины двоюродного брата – в наемной карете. Но ехать в «собственном» экипаже, на запятках которого не было никакой жестянки с номером, – об этом он никогда и мечтать не мог. И вот теперь, когда представился случай, он не почувствовал никакой радости. Усевшись на мягкое кожаное сиденье, он мрачно уставился в широченную спину кучера и всю дорогу молчал или отделялся короткими ответами, удивляясь, как это Волков может говорить о заданных на завтра уроках, о неверном ответе в задачнике Евтушевского, о погоде и о прочих будничных делах. Ему все казалось, что вот-вот Волков откинет полу своего модного реглана, достанет серебряный портсигар и закурит сигару.

Но все-таки ехать в коляске было очень приятно. Дутые резиновые шины мягко, пружинисто подкидывали. Широкозадый кучер властным командирским голосом покрикивал на прохожих:

– Пади!..

И прохожие испуганно шарахались, оглядывались, отряхивали забрызганные грязью пальто. Наемные извозчики и ломовики придерживали своих кляч и безропотно пропускали «собственного».

На Садовой у Крюкова канала на мостовой перед лабазом стояла толпа женщин.

– Пади! – крикнул кучер.

Но женщины не успели разбежаться. Лакированное крыло коляски задело кого-то. В толпе послышались гневные голоса:

– Эй вы, барчуки! Осторожнее!

– Буржуазия проклятая!

– А ну, поддай им, бабы!

– Поездили! Хватит! Вышло ихнее времечко...

Кучер даже плечом не повел. Коляска, не убыстряя хода, мягко вкатывалась на деревянный настил моста.

Что-то ударило в стенку экипажа. Ленька привстал и оглянулся.

Женщина в сером платке, кинувшая камень, стояла с поднятой рукой и кричала:

– Да, да! Это я! Мало? Еще получите... Живоглоты!

– Гони! – крикнул кучеру Волков. И, стиснув Ленькину руку, сквозь зубы прохрипел: – Хамы!..

«Сами же мы виноваты. Не извинились даже», – подумал Ленька, но вслух ничего не сказал.

* * *

... Чувство неловкости, скованности и немоты не оставляло его и позже, когда экипаж въехал на асфальтированную площадку маленького двора, в центре которого жиденькой струй-

кой бил крохотный игрушечный фонтанчик; когда поднимался он вслед за Волковым по широкой мраморной лестнице, устланной мягким ковром с жарко начищенными медными прутьями; когда высокую парадную дверь распахнул перед ними настоящий лакей, с бакенбардами, в чулках, похожий на какую-то иллюстрацию к английской детской книжке...

– Пройдем ко мне, – сказал Волков, когда нарядная, как артистка, горничная помогла им снять пальто. – У папы деловое совещание. После я тебя представлю ему.

Эти слова еще больше смутили Леньку. Никогда раньше его не «представляли» чужим родителям. Ему казалось, что он пришел на экзамен или к директору училища, а не к товарищу в гости. И комната, куда его привел Волков, действительно больше походила на директорский или даже министерский кабинет, чем на детскую девятилетнего мальчика. Письменный стол с бронзовым чернильным прибором. Огромные книжные шкафы, от пола до потолка заставленные книгами. Пушистый ковер. Камин, перед которым распласталась леопардовая шкура.

– Это твоя комната? – спросил Ленька, не зная, что сказать.

– Моя, – просто, без всякого хвастовства ответил Волков. – Ну, чем же мы займемся? Хочешь, я покажу тебе свои игрушки?..

И, усадив Леньку на ковер, он стал доставать и показывать товарищу богатства, каких Ленька не видел даже в витринах игрушечного магазина Дойникова в Гостином дворе.

Настоящая паровая машина. Электрический поезд, который бегал по рельсам через всю комнату. Кинематографический аппарат Патэ. Ружье «монтекристо». Заводной солдат-шотландец в клетчатой юбочке, который не катался на колесиках, а ходил, переставляя одну за другой длинные голенастые ноги и делая еще при этом артикул ружьем...

Ленька с тупым удивлением смотрел на эти хитроумные дорогие игрушки и не мог почему-то ни радоваться, ни удивляться. Даже зависти к Волкову у него не было.

* * *

...Часа два он просидел на ковре – и чем дольше сидел, тем сильнее чувствовал под ложечкой томление, какое испытываешь на затянувшемся неинтересном уроке. Он уже набрался храбрости и хотел заявить, что ему пора домой, когда открылась дверь и в комнату, шурша шелковым платьем, не вошла, а всплыла молодая красивая женщина, очень похожая на Волкова – с такими же хрупкими чертами лица и с такими же тонкими черными бровями.

– Моя мама, – с гордостью объявил Волков.

Ленька вскочил, шаркнул ногой, споткнулся о паровую машину и, увидев возле своего носа тонкую, бледную руку с розовыми миндалинами ногтей, ткнулся губами в эту хрупкую, крепко надушенную руку и назвал себя по фамилии.

– Очень приятно, – проворковала мадам Волкова. – Вовик мне о вас говорил. Чувствуйте себя, пожалуйста, у нас как дома.

«Да! Ничего себе – как дома», – со вздохом подумал Ленька.

– А сейчас, пожалуйста, обедать. Вас ждут.

– Я не хочу, – забормотал Ленька. – Благодаю вас. Мне пога ехать. Я еще угоков не выучил.

– Не спешите. Успеете. Вовик вас отвезет... А уроки можете вместе учить.

Ленька понял, что погиб, и покорно поплелся вслед за Волковым – сначала в туалетную, мыть руки, потом – в столовую, где за большим обеденным столом уже сидело человек десять мужчин и среди них – высокий чернобородый господин с засунутой за воротник салфеткой, в котором Ленька почему-то сразу признал Волкова-отца. Так оно и оказалось. Волков подвел Леньку к чернобородому и сказал:

– Папа, разреши представить тебе. Мой товарищ, о котором я тебе говорил...

– А-а! Да, да, – веселым басом проговорил Волков-отец, показывая необыкновенно белые, ослепительные зубы и протягивая Леньке руку. – Приятно... Садитесь, юноша. Милости просим. Водку пьете?

Ленька понял, что хозяин шутит, сделал понимающую улыбку и, поклонившись гостям, сел рядом с Волковым-сыном.



Ленька с тупым удивлением смотрел на эти хитроумные дорогие игрушки и не мог почему-то ни радоваться, ни удивляться.

– Представь, папа, – сказал Волков-сын, к удивлению Леньки, тоже засовывая за воротник крахмальную салфетку. – Когда мы ехали домой, нас на Пиколовом мосту какие-то хамки забросали камнями.

– Вовик, – остановила его мать. – Откуда эти выражения?! «Хамки»!..

– Виноват, Елена Павловна, – бархатным голосом перебил ее какой-то бритый человек в полувоенном френче, лицо которого показалось Леньке знакомым: портрет его он видел недавно в газете. – Не те времена, голубушка, чтобы обращать внимание на этикие тонкости. Пора называть вещи своими именами.

– И детям тоже?

– Увы, и детям тоже.

– Вовик, милый, ты не ушибся? – Мы ускакали, – сказал Вовик.

За столом продолжался разговор, прерванный появлением мальчиков.

– Боже мой! Надвигается какой-то ужас.

– Ничего-ничего, Елена Павловна. Есть еще порох в пороховницах. Не с такими справились.

– В Учредительное они не пролезут, во всяком случае. Будьте уверены. Задавим.

– Скажите, это правда, что генералы Корнилов и Деникин освобождены из-под ареста?

– Истинная правда, о которой не следует говорить громко.

– Вчера в Пассаже на моих глазах опять сорвали погоны с какого-то офицера...

– Пришьет. Невелика беда. Была бы голова на плечах. – Папа, я тебе говорил, что Лешин отец был офицером?

– Говорил, Вовочка. Помню. Приятно... В каком же чине был ваш... гм... гм... родитель?

Ленька подумал, что на такое общество меньше чем полковником не угодишь. Но покраснел, кашлянул и сказал правду:

– Хогунжий.

Ему показалось, что гости и хозяйева переглянулись насмешливо.

– Н-да. Это что же выходит – корнет или вроде этого? Значит, вы казак?

– Да, – гордо ответил Ленька. Он покосился на Волкова и увидел, что щеки того залились румянцем.

«Это он за меня стыдится», – понял Ленька.

Без всякого аппетита он ел горячую янтарную уху с рассыпчатыми слоеными пирожками. Пирожки застревали в горле, а мадам Волкова накладывала ему на тарелку все новые и новые порции и, улыбаясь, приговаривала:

– Кушайте, голубчик, кушайте...

На другом конце стола кто-то жиденьким голосом говорил:

– Не будем забывать, господа, что судьба России, а следовательно, и всех нас, решается в Учредительном собрании. Именно поэтому всеми силами, правдами и неправдами необходимо добиваться большинства...

– К сожалению, Оскар Осипович, правдами многого не добьешься, – показывая ослепительные зубы, весело пробасил Волков-отец. – Неправдами оно как-то сподручнее, как выражаются у нас на работах десятники.

– Миша, расскажи про Пелагею, – перебила его жена. – А-а, да!.. Пелагея! Это, имею честь доложить, наша оберкухмистерша, кухарка. Третьего дня я спрашиваю у этой особы: «Пелагеюшка, матушка, вы за кого, собственно, имеете намерение голосовать на предстоящих выборах?» А она: «Мне, – говорит, – Михаил Васильевич, все равно, за кого... Мне бы только чтобы телятина на рынке подешевше стала». – «Ах, так? – я говорю. – Великолепно! В таком случае вам, почтеннейшая, следует голосовать за „Партию народной свободы“. Не забудьте – избирательный список номер два».

За столом дружно захохотали.

– Вот это называется агитация! Чудесно! Правильно! Так и надо.

Ленька положил ложку, кашлянул и вдруг неожиданно для самого себя громко сказал:

– Ей бы надо за большевиков голосовать.

За столом сразу стало тихо. Все переглядывались и с удивлением смотрели на мальчика. Особенно страшно и даже зловеще, как показалось Леньке, смотрел на него бородатый Волков-отец.

– Почему-с? – тихо спросил он, подняв над тарелкой вилку.

– Потому, – смутился Ленька. – Потому что это их партия... рабочая...

Вокруг зашумели. Кто-то засмеялся. Кто-то неодобрительно крикнул.

– Позвольте, позвольте, – сказал хозяин, строго рассматривая Леньку. – Собственно говоря... я не совсем понимаю... Вы с кем живете, юноша?

– Я... с мамой, – пробормотал Ленька.

– Вот как? А кто ваша мама?

– Она учительница музыки.

– Так-с.

Волков-отец посмотрел на Волкова-сына.

– А вы знаете, молодой человек, кто такие большевики?

– Нет, – краснея, ответил Ленька.

– Не знаете? Так знайте!

И, постукивая вилкой по краешку тарелки, хозяин строгим учительским голосом заговорил, обращаясь к одному Леньке:

– Большевики, милостивый государь, это тевтонские наемники, шпионы, заброшенные в наш тыл неприятельским штабом. За немецкие деньги эти бунтовщики сеют смуту в нашем отечестве, призывают рабочих к забастовкам, солдат к неповиновению. Это враги, которых надо ловить и расстреливать на месте без суда и следствия.

Ленька побледнел. Он вдруг вспомнил Стешу, ее сундучок в «темненькой», большевистский плакат, фотографию усатого человека в черном пальто...

Что же это? Неужели это правда? Неужели их горничная – тоже германская шпионка? От одной этой мысли куриная кость встала у него поперек горла.

Он уже не слушал больше Волкова-отца. Он думал о Стеше.

Как ему раньше не пришла в голову эта страшная догадка?! Ведь он столько раз читал в газетах о шпионах, он помнит, что в некоторых газетах называли шпионами большевиков. Почему же он не подумал до сих пор о Стеше?! Ведь горничная сама призналась, что она за большевиков...

Он с трудом досидел до конца обеда и решительно заявил, что должен идти домой. К удивлению его, ни родители Волкова, ни сам Волков не стали уговаривать его остаться.

– Иди, что ж, – сказал, позевывая, Волков, провожая Леньку в прихожую. – А у меня, ты знаешь, голова что-то разболелась. Я тебя проводить не могу. Дойдешь?

– Конечно, дойду, – сказал Ленька, всовывая руки в рукава шинели, которую ему подавала горничная.

На Крюковом канале он минут десять стоял у чугунной решетки, смотрел на черную сентябрьскую воду и с ужасом думал: что же это такое? Нет, нет, не может быть. Он вспомнил, что еще совсем недавно, на прошлой неделе, Стеша получила письмо с извещением, что брат ее тяжело ранен и лежит в госпитале под Могилевом. Он помнит, как страшно рыдала девушка, получив это извещение. Значит, она притворялась? Но ведь брат ее действительно ранен. Или, может быть, письмо было вовсе не от него?.. Может быть, у нее и брата никакого нет?..

Он стал припоминать... Вообще-то, если подумать, со Стешей давно уже творится неладное. Раньше она целыми днями сидела дома, не каждое воскресенье и в отпуск уходила. А теперь – чуть вечер, чуть стемнеет, чуть кончилась работа по дому, она уже – платок на голову

и бегом со двора. Возвращается поздно, будит всех. Леньке вспоминается подслушанный им недавно разговор между Стешей и матерью.

– Опять вы, Стеша, вчера во втором часу вернулись...

– Да, барыня. Простите, я разбудила вас.

– Не в этом дело. Всё, милая, на танцы бегаєте? Смотрите, голубушка, дотанцуетесь.

– Нет, барыня, – негромко отвечает Стеша. – Я не на танцах была...

А где же она была? Куда она так таинственно исчезает по вечерам?

О господи, даже подумать страшно!..

За три года войны Ленька столько наслушался о шпионах, такие невероятные истории ему приходилось и слышать, и читать об этих вражеских лазутчиках, которые пролезают во все щели, маскируясь и трубочистами, и точильщиками, и швейцарами (и даже царицами, как уверял Сережа Бутылочка), что неудивительно, если этот девятилетний мальчик, которому к тому же очень помогала богатая фантазия, в конце концов поверил, будто их горничная Стеша – тоже шпионка. Во всяком случае, когда он подходил к своему дому, он в этом уже почти не сомневался.

* * *

Открыла ему на звонок Александра Сергеевна. Щека ее была подвязана черным платком. На глазах блестели слезы. Опять у нее болели зубы.

– Ну как? Доволен? – сказала она, пробуя улыбнуться. – Да, – коротко ответил Ленька. И сразу же спросил: – Стеша дома?

– Нет. Ушла.

– Куда?

– Откуда же я знаю? – пожала плечами Александра Сергеевна.

«Ага! Опять», – зловеще усмехнулся Ленька.

Он ничего не сказал матери и прошел в комнаты.

Теперь он уже не колебался. Теперь настало время действовать.

Ему было жаль Стешу. К девушке он привык, любил ее почти как родную – ведь с тех пор, как он помнит себя, она жила у них в доме. Но что же делать! Если бы он знал, что его мать или бабушка – немецкие шпионы, он и их должен был бы безжалостно разоблачить. Это долг патриота, как пишут в газетах.

Он стал наблюдать за девушкой. Он потерял аппетит, плохо спал, хуже стал учиться. Теперь он не ложился спать до тех пор, пока Стеша не возвращалась домой. На цыпочках он подкрадывался к дверям «темненькой» и слушал.

Стеша выдвигала из-под кровати сундучок.

«Ага», – говорил себе Ленька.

Он прижимался глазом к замочной скважине и видел, как Стеша, согнувшись, сидит на кровати и при жиденьком свете керосиновой лампочки что-то пишет в тетрадке, лежащей у нее на коленях.

«Вот... вот, – переставая дышать, думал Ленька. – Записывает... сведения...»

* * *

...Наконец он решился на последний шаг. Он решил проследить: куда ходит Стеша по воскресеньям? Он знал, что у горничной в Петрограде нет родных. Значит, она ходит туда, где главные немцы собирают все сведения от своих шпионов. И вот, в ближайшее воскресенье, узнав, что Стеша отпросилась у хозяйки «со двора», Ленька пошел к матери и объявил ей, что ему необходимо сходить к Волкову, взять учебник русской истории Ефименко. Он

сказал неправду. Во-первых, учебник этот он взял у Волкова еще на прошлой неделе, а во-вторых – отношения с Волковым были у него теперь не такие, чтобы ходить друг к другу в гости. Правда, они не поссорились, продолжали разговаривать, даже прогуливались иногда в перемену по училищным коридорам, но Леньке казалось, что Волков смотрит на него еще более высокомерно, свысока и даже как-то обиженно: будто Ленька в чем-то обманул его.

Получив от матери разрешение и дав ей клятвенное обещание быть осторожным, то есть ни в коем случае не попасть ни под трамвай, ни под автомобиль, ни под извозчика, Ленька оделся, спустился во двор и стал ждать. Минут через пятнадцать наверху хлопнула дверь, и он, как заправский сыщик, притаился за деревом, перестал дышать и наострил уши.

Вот по булыжникам двора застучали кованые каблучки Стешиных башмаков.

Он выглянул из-за дерева.

Помахивая жалким клеенчатым ридикюльчиком, Стеша перебежала двор, свернула под арку ворот и вышла на улицу.

Ленька побежал за ней следом, минуту постоял под воротами и осторожно высунул голову в калитку.

Горничная переходила улицу.

Надвинув на глаза фуражку и прижимаясь к стенам домов, он шел за ней, выдерживая расстояние, замедляя шаги, останавливаясь и снова прибавляя шаг.

Ему было немножко страшно и немножко стыдно, но чувство гордости и сознание, что он выслеживает и вот-вот поймает настоящую немецкую шпионку, подавляло все остальные чувства.

На Покровском рынке, в толпе покупателей и продавцов он на несколько минут потерял девушку из виду, испугался, заспешил – и чуть не столкнулся со Стешей, увидев перед самым носом ее черную кружевную косынку.

На Садовой у кинематографа «Нью-Стар» Стеша ненадолго остановилась, разглядывая картинки за проволоочной сеткой витрины. Ленька перешел улицу и, делая вид, что любитесь бутафорскими окороками и колбасами в витрине гастрономического магазина Бычкова, искоса поглядывал в ее сторону.

У Крюкова канала Стеша свернула за угол. Ленька пошел быстрее и вдруг подумал, что Стеша идет тем самым путем, каким они ехали в прошлое воскресенье с Волковым. Как и в тот раз, на углу у лабаза толпились и шумели женщины. Стеша прошла мимо, потом постояла немного, вернулась и о чем-то недолго поговорила с женщинами.

«О чем это она их выпрашивает?» – подумал Ленька и уже хотел подойти к женщинам и спросить, о чем расспрашивала их эта подозрительная особа в черной косынке, но вспомнил давешнюю историю с камнем, глубже напялил фуражку и быстро перешел вслед за Стешей Пиколов мост.

На высокой колокольне Никольского морского собора гулко ударил большой колокол. Звонили к обедне. Ленька видел, как Стеша посмотрела в сторону церкви, голубовато белевшей за облетевшими деревьями Никольского сада, и прибавила шаг.

Но куда же она идет? Вот уже виден серый красивый дом, где живут Волковы. Неужели она идет к Волкову? Нет, свернула налево. Остановилась. Оглядывается. Ленька отбежал в сторону и спрятался за фонарем. Что это за здание, перед которым остановилась Стеша? Эти места мальчику хорошо знакомы. Еще в раннем детстве нянька водила их сюда гулять. Отлично знает он и этот длинный приземистый двухэтажный старинный дом, на фасаде которого, как на фуражке матроса, ленточкой вытянулись четкие металлические буквы:

ГВАРДЕЙСКИЙ ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖЬ

У Леньки холодеет сердце. Перед казармой стоит группа матросов. У полосатой будки прохаживается часовая, на плече он держит длинное ружье с плоским японским штыком. И вот Ленька видит, как Стеша подходит к матросам, что-то говорит им. Те смеются. Потом она направляется к часовому, показывает ему какую-то бумажку, еще раз воровато оглядывается и проходит во двор казармы.

Зубы у Леньки начинают стучать.

Вот оно что! Значит, он не ошибся. Шпионка! Настоящая шпионка! Ходит по военным казармам и собирает сведения.

А они-то! Матросы эти!.. Простофили этикие... Не знают, кого пропустили в казарму... Еще смеются, дурни!

Ленька хочет бежать и не может: ноги не держат его. За углом показалась пролетка извозчика.

– Извозчик! – слабым голосом крикнул Ленька.

– Тпру!.. Пожалуйте, ваше благородие. Куда прикажете? Домчу в один миг.

Ленька назвал адрес, взобрался на облезлое сиденье, извозчик зачмокал, задергал вожжами, и пролетка, дребезжа, покатила по булыжникам набережной...

* * *

Через двадцать минут Ленька был дома.

Скинув шинель, он прошел в «темненькую». Комната эта называлась так не даром. Слабый дневной свет едва проникал в нее сквозь одно-единственное окошко, находившееся под самым потолком.

Руки у Леньки дрожали, когда он выдвигал из-под Стешиной кровати красный, обитый жестяными полосками сундучок.

Он знал, что нехорошо лазить в чужие вещи. Он знал, что это – грех. Но что же делать?

На петельках сундука висел замочек. Ключа не было. Ленька пошарил под Стешиной подушкой. Ключа и там не оказалось.

Тогда он сбегал на кухню, принес тонкий колбасный нож и попробовал этим ножом открыть замок.

Замок не открывался.

Ленька уже сердился. Волосы на лбу у него взмокли. Уже не думая о том, что он делает, он сунул черенок ножа в замочную дужку и с силой повернул его. Что-то хрустнуло, и маленький медный замочек упал к его ногам.

С трепетом он поднял крышку сундука. Первое, что он увидел, была книжка. На бледно-розовой обложке ее крупными буквами было напечатано: Карль Маркс и Фридрихъ Энгельс. «Коммунистический Манифест». Под книжкой лежал уже знакомый ему плакат, под плакатом – пожелтевшая фотография усатого человека, еще какие-то фотографии, деревенский кремовый платок с бахромой, отрез материи, коробки, банки, пустые пузырьки из-под маминых духов.

Пересиливая стыд, страх и брезгливость, Ленька рылся в этом жалком девичьем приданом, как вдруг услышал за дверью шаги матери.

Он едва успел захлопнуть крышку сундука и кое-как запихал его под кровать, когда Александра Сергеевна вошла в «темненькую».

– Кто это? Это ты, Леша?! Ты что тут делаешь?

– Ничего, – ответил Ленька, засовывая руки в карманы и пробуя улыбнуться. – Зашел, думал, что тут Стеша.

– Как «думал»? Ты же знаешь, что она ушла со двора. И что тебе, скажи, пожалуйста, далась эта Стеша.

«Сказать или не сказать?» – подумал Ленька.

– Иди сию же минуту в детскую, – строго сказала мать. – Тебе здесь не место.

Выходя из «темненькой», Ленька спросил у матери: – Мама, скажи, пожалуйста... Кто такой Карл Маркс? – Кто? Карл Маркс? Что за странный вопрос? Это... Ну, в общем... как тебе сказать? Впрочем, ты еще маленький. Вырастешь, тогда узнаешь.

Ленька заметил, что щеки у матери покраснели.

– Нет, правда, мама. Скажи...

– Ах, оставь, сделай милость! У меня и без того мучительно болят зубы.

«Сама не знает», – подумал Ленька.

Он прошел в детскую. Вася и Ляля сидели на полу у печки, играли в «военно-морскую игру». Ленька присел на корточки за Лялиной спиной, попробовал принять участие в игре, но мысли его разбегались.

«Нехорошо, – думал он. – Разворошил сундук и даже не закрыл его».

И кто такой этот Карл Маркс, которого читает Стеша?

Он вспомнил, что среди книг, оставшихся от отца, имеется многотомный энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Не один раз он прибегал к помощи этого словаря, когда в книге, которую он читал, встречалось незнакомое слово вроде «идеал», «гармония», «фатальный», «инквизитор» или «брыжи».

В кабинете он застал мать. Александра Сергеевна стояла у раскрытого книжного шкафа и перелистывала большую толстую книгу в темно-зеленом коленкоровом переплете.

– Тебе что? – сказала она, оглянувшись и быстро захлопнув книгу.

– Ничего, – сказал Ленька. – Я только хотел посмотреть в словарь: кто такой Маркс?

Щеки матери опять залились румянцем.

– О господи? Какой ты, в самом деле, неугомонный! Ну хорошо, отстань, пожалуйста! Маркс – это немецкий ученый. Экономист.

«Немецкий?! Ага! Вот оно... Все понятно».

– Что с тобой, мальчик? Ты побледнел... Тебе нездоровится?

– Ничего, – сказал Ленька, опуская голову. Но он и в самом деле чувствовал, что внутри у него делается что-то нехорошее: в висках противно шумит, горло пересохло.

– И зачем тебе вдруг понадобилось знать, кто такой Маркс? Ты что – уж не в большевики ли хочешь записываться?..

«Маркс... немцы... большевики... шпионы» – все перемешалось в Ленькиной голове.

– Ну как? Был у Волкова?

– Был. Да... – хрипло ответил Ленька.

В это время в прихожей затрещал звонок. Александра Сергеевна пошла отворять. Ленька машинально взял книгу, которую она не успела поставить на место. Как он и думал, это был энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, том восемнадцатый – на букву М.

«Малолетство – Мейшагола», – прочел он на корешке книги.

Он стал перелистывать книгу, разыскивая слово «Маркс», и не заметил, как в комнату вернулась мать.

– Послушай, Леша! Что это значит? – негромко сказала она.

Ленька захлопнул книгу и оглянулся. Такого сердитого лица он еще никогда не видел у своей доброй матери.

– Я говорю: что это значит? Ты сказал мне неправду?

– Что? Какую неправду?

Мать посмотрела на дверь и еще тише сказала:

– К тебе пришел Волков.

У Леньки запылали уши.

– Оказывается, ты и не думал ходить к нему!

– Как не думал? Я был... Но мы разошлись. То есть я не застал его...

– Не лги! Фу! Какая гадость!..

Александра Сергеевна брезгливо поморщилась.

«Знала бы она, куда и зачем я ходил!» – подумал Ленька.

– Мамочка, милая, – зашептал он, схватив за руку мать. – Я... я после все тебе расскажу. Только, пожалуйста, не выдавай меня сейчас!

– Не выдавать? – усмехнулась Александра Сергеевна. – Увы, я, кажется, уже невольно выдала тебя. Впрочем, идем!..

Малолетний джентльмен в гордой позе стоял в прихожей у вешалки, прижимая к животу шляпу, тросточку и перчатки.

– Я к тебе на минуту, – сказал он, поздоровавшись с Ленькой. И, бросив усмешку в сторону Александры Сергеевны, добавил: – Ты, я слышал, был у меня?

– Да... то есть нет, – пробормотал Ленька.

– Оказывается, это я напутала, – улыбнулась Александра Сергеевна. – Леша только соби-
рался к вам...

Ленька предложил Волкову раздеться.

– Нет, благодарю, мне некогда. Я только хотел взять у тебя своего Ефименко. Ведь завтра у нас история. Ты не забыл?

– Я уже выучил, – унылым голосом промямлил Ленька и, покосившись в сторону матери, увидел, что на лице ее опять появилось гневное и огорченное выражение. Он принес книгу и, когда Волков попросил проводить его, быстро и охотно согласился. Объясняться с матерью ему сейчас не хотелось.

* * *

Когда они вышли на улицу, Волков оглянулся и сказал:

– Послушай, в чем дело? Зачем ты наврал своей маме, будто был у меня?

– Я не врал. Это она ошиблась, – мрачно ответил Ленька.

– Да? А ведь я знаю, где ты был.

– Где?

– Я видел тебя из окна. Я сам думал, что ты ко мне идешь.

– Ну?

– Ты был у матросов. А? Что, неправда? Покраснел?

– И не думал краснеть, – сказал Ленька, трогая рукой щеку. Почему-то ему было противно объяснять Волкову, зачем он ходил в «экипаж».

– Был?

– Ну, и был.

Волков с усмешкой посмотрел на него.

– А ты, кажется, и в самом деле большевик?

– Я?! Ты что – с ума сошел?

– Неизвестно еще, кто сошел.

– Так чего ж ты ругаешься?

– А зачем же ты ходил к матросам?

– Ну, и ходил. Ну и что?

– А то, что матросы все поголовно большевики. Может быть, ты этого не знаешь?..

Нет, Ленька этого не знал. Он остановился и испуганно посмотрел на товарища:

– Шпионы? Все?!

Волков громко расхохотался.

Ленька вдруг почувствовал, что у него стучат зубы. Его знобило.

– Что с тобой? – спросил Волков, переставая смеяться. – Мне нездоровится. Я пойду домой. Извини, пожалуйста, – сказал Ленька.

Но домой он не пошел. От объяснений с матерью он ничего хорошего не ждал. Да и стыдно ему было: никогда в жизни он столько не врал и вообще не совершал столько проступков, как в этот день.

Часа полтора он слонялся по окрестным улицам, читал афиши и плакаты на стенах, останавливался у витрин магазинов, смотрел, как работает землечерпалка на Фонтанке...

У ворот Усачевских бань сидели и стояли, дожидаясь очереди, человек двадцать матросов. Эти веселые загорелые парни в черных коротких бушлатах и в серых парусиновых штанах ничем не напоминали шпионов. Под мышками у них торчали свертки с бельем, веники и мочалки.

Ленька подошел ближе, чтобы послушать, о чем говорят моряки. В это время из ворот бань вышел толстый раскрасневшийся офицер с маленьким и тоже очень толстым и румяным мальчиком, которого он вел за руку. Два или три матроса поднялись и отдали офицеру честь, остальные продолжали сидеть. Молодой парень в надвинутой на нос бескозырке что-то сказал вдогонку офицеру. Товарищи его засмеялись. Офицер прошел мимо Леньки, и тот слышал, как толстяк заскрипел зубами и вполголоса сказал:

– Погодите, большевистские морды!..

Леньке вдруг захотелось в баню. Захотелось – на самую верхнюю полку, в самую горячую воду.

По спине его бегали мурашки, голова кружилась, зубы стучали.

* * *

...Было уже темно и на улице зажигались фонари, когда он вернулся домой.

Дверь ему открыл Вася. Глаза у малыша были круглые, как у филина, и сияли восторгом и ужасом.

– У нас воров были! – раскатисто на букве «р» объявил он, еще не успев как следует снять цепочку с двери.

– Что? Когда? Где? – оживился Ленька.

Как и любой другой мальчик на свете, он не мог не испытать радости при этом сообщении. Кто бы ни пострадал от воров – знакомые, родственники, родной отец или родная мать, – все равно сердце мальчика не может не дрогнуть от предвкушения тех ни с чем не сравнимых блаженств, которые сопутствуют обычно этому печальному происшествию. В квартире появляются дворники, околоточный, может быть, приедет настоящий сыщик, может быть, даже вызовут полицейскую собаку-ищейку.

Скинув шинель, Ленька уже собирался бежать в комнаты, но тут услышал за дверью «темненькой» Стешин голос, и сразу весь его пыл ушел, вместе с душой, в пятки. Стеша горько плакала и, всхлипывая, сквозь слезы говорила:

– Александра Сергеевна! Барыня! Да что же это! Кто же это мог! Вы посмотрите: все, все перерыто, перекомкано... И замок сломан... И петельки сдернуты...

Ленька заметался, кинулся обратно к вешалке, схватил в охапку шинель, но в эту минуту из «темненькой» быстрыми шагами вышла мать. Лицо ее под черной повязкой пылало. Увидев Леньку, она остановилась в дверях и тихим, дрогнувшим голосом проговорила:

– Боже мой! Создатель! Только этого и не доставало! Вор! – Кто вор? – опешил Ленька.

– Вор! Вор! – повторила она, схватившись за голову. – В собственном доме – вор!

– Врет она! – закричал Ленька. – Притворяется... Изменница!..

Но мать не дала договорить ему.

– Идем за мной! – крикнула она и, схватив Леньку за руку, поволокла его в свою комнату.

– Уйди! – отбивался и руками и ногами Ленька. – Оставь меня! Я не вор... Отстань! Отпусти!..

Мать волокла его, приговаривая:

– Позор! Позор! Боже мой! Мерзость!.. Какая мерзость!.. – Отпусти меня! – закричал Ленька и, извернувшись, укусил мать за руку. Она вскрикнула, выпустила его и заплакала. Он тоже закричал на всю квартиру, повалился на кушетку и, уткнувшись лицом в подушки, зарыдал, забился в истерике...

Через минуту Александра Сергеевна уже сидела с ним рядом на низенькой кушетке, целовала мальчика в стриженный затылок и уговаривала:

– Леша! Ну Лешенька! Ну хватит, ну успокойся, мое золотко. Ну что с тобой, мой маленький?..

– Уйди! – бормотал он, стуча зубами. – Оставь меня! Ты же не знаешь! Ты ничего не знаешь...

Потом быстро поднял голову и, глядя матери прямо в глаза, прокричал:

– С-сте-те-те-ша... у нас... шпионка!

– Господи! – сквозь слезы рассмеялась Александра Сергеевна. – Какие глупости! С чего ты взял?

– Да? Глупости? Ты думаешь – глупости?

И, приподнявшись над подушкой, всхлипывая, глотая слезы, он рассказал матери все. Терпеливо выслушав его, Александра Сергеевна грустно усмехнулась и покачала головой.

– Боже мой!.. И откуда у этого ребенка столько фантазии?

Потом подумала минутку, нахмурилась и сказала:

– Я не знала, что Стеша – большевичка. Но это, мой дорогой, вовсе не значит, что она шпионка.

– Как не значит? Ведь большевики – шпионы?

Александра Сергеевна еще раз поцеловала сына.

– Дурашка ты мой! Это только так говорят...

– Как «только говорят»?

– Ну... ты этого еще не поймешь. Вырастешь – тогда узнаешь.

В голове у Леньки стучало, как будто туда повесили тяжелый железный маятник. Что же это такое? Что значит «только говорят»? Значит, взрослые врут? Значит, инженер Волков наврал, когда говорил, что большевики – шпионы? Значит, и все его гости – эти почтенные, богатые, интеллигентные люди – тоже вруны и обманщики?!

Перед глазами у него все поплыло; замелькали, как бабочки, золотистые цветы на розовых обоях, потом эти бабочки стали темнеть, стали черными, стали расти, стали махать крыльями... Он почувствовал, как на лоб ему легла холодная рука матери, и услышал ее громкий испуганный голос:

– Лешенька! Сынок! Что с тобой? У тебя жар! Ты весь горишь!..

Ленька хотел сказать: «Да, горю». Но губы его не разжимались. Плечи и горло сводило судорогой. В голове стучали железные молотки.

– Стеша! Стеша! Скорей! Принесите градусник! Он в детской, в комодке, во втором ящике...

Это были последние слова, которые услышал Ленька.

Глава 3

Он проболел сорок восемь дней. Три недели из них он пролежал в бреду, без сознания, в борьбе между жизнью и смертью. А это были как раз те великие дни, которые потрясли мир и перевернули его, как землетрясение переворачивает горы.

Это был октябрь семнадцатого года.

Ленька лежал с температурой 39,9 в тот день, когда крейсер «Аврора» вошел в Неву и бросил якоря у Николаевского моста.

В Смольный прибыл Ленин.

Красная гвардия занимала вокзалы, телеграф, государственный банк.

Зимний дворец, цитадель буржуазного правительства, осаждали революционные войска и рабочие.

А маленький мальчик, разметав подушки и простыни, стонал и задыхался в постели, отгороженной от остальной комнаты и от всего внешнего мира шелковой японской ширмой.

Он ничего не видел и не слышал. Но когда помутненное сознание ненадолго возвращалось к нему, начинались бред и кошмары. Безотчетный страх нападал в эти минуты на мальчика. Кто-то преследовал его, от чего-то нужно было спастись, что-то страшное, большеглазое, чернородое, похожее на Волкова-отца, надвигалось на него. И одно спасение было, один выход из этого ужаса – нужно было связать из шерстяных ниток красный крест. Ему казалось, что это так просто и так легко – связать крючком, каким вяжут варежки и чулки, красный крест, сделав его полым, в виде мешка вроде тех, что напяливают на чайники и кофейники...

Иногда ночью он открывал воспаленные глаза, видел над собой похудевшее лицо матери и, облизав пересохшие губы, шептал:

– Мамачка... миленькая... свяжи мне красный крест!.. Уронив голову ему на грудь, мать тихо плакала. И он не понимал, чего она плачет и почему не хочет исполнить его просьбу, такую несложную и такую важную.

* * *

...Но вот организм мальчика справился с болезнью, наступил перелом, и постепенно сознание стало возвращаться к Леньке. Правда, оно возвращалось медленно, клочками, урывками, как будто он тонул, захлебывался, шел ко дну, и лишь на минуту страшная тяжесть воды отпускала его, и он с усилиями всплывал на поверхность – чтобы глотнуть воздуха, увидеть солнечный свет, почувствовать себя живым. Но и в эти минуты он не всегда понимал, где сон и где явь, где бред и где действительность...

Он открывает глаза и видит возле своей постели тучного человека с черными усиками. Он узнаёт его: это доктор Тувим из Морского госпиталя, их старый домашний врач. Но почему он не в форме, почему на плечах его не видно серебряных погон с якорями и золотыми полосками?

Доктор Тувим держит Леньку за руку, наклоняется к его лицу и, улыбаясь широкой дружелюбной улыбкой, говорит:

– Ого! Мы очнулись? Ну, как мы себя чувствуем?

Леньку и раньше смешила эта манера доктора Тувима говорить о других «мы»... Почему-то он никогда не скажет: «выпей касторки» или «поставьте горчичник», а всегда – «выпьем-ка мы касторки» или «поставим-ка мы горчичничек», – хотя сам при этом горчичников себе не ставит и касторку не пьет.

– Мы не имеем намерения покушать? – спрашивает он, поглаживая Ленькину руку.

Ленька хочет ответить, пробует улыбнуться, но у него хватает сил лишь на то, чтобы пошевелить губами. Голова его кружится, доктор Тувим расплывается, и Ленька опять проваливается, уходит с головой в воду. Последнее, что он слышит, это незнакомый мужской голос, который говорит:

– На Лермонтовском опять стреляют.

Однажды ночью он проснулся от страшного звона. В темную комнату с ураганной силой дул холодный уличный ветер.

Он услышал голос матери:

– Стеша! Стеша! Да где же вы? Дайте что-нибудь... Подушку или одеяло...

– Барыня! Да барыня! Отойдите же от окна! – кричала Стеша.

Он хотел спросить: «Что? В чем дело?», хотел поднять голову, но голос его не слушался, и голова бессильно упала на подушку.

* * *

...Но теперь он просыпался все чаще и чаще.

Он не мог еще говорить, но мог слушать.

Он слышал, как на улице стучал пулемет. Он слышал, как с грохотом проносились по мостовой броневые автомобили, и видел, как свет их фар грозно и быстро пробежал по белому кафелю печи.

Он начинал понимать, что что-то случилось.

Один раз, когда Стеша поила его холодным клюквенным морсом, он набрался сил и шепотом спросил у нее:

– Что?..

Она поняла, засмеялась и громко, как глухому, сказала:

– Наша власть, Лешенька!..

Он не сразу понял, о чем она говорит. Какая «наша власть»? Почему «наша власть»? Но тут, как это часто бывает после болезни, какой-то выключатель повернулся в Ленькиной голове, яркий луч осветил его память, и он вспомнил все: вспомнил матросов-большевиков из гвардейского экипажа, вспомнил, как он крался за Стешей по Садовой и по Крюкову каналу, вспомнил и сундучок, и замок, и энциклопедический словарь Брокгауза... Уши у него загорелись, и, приподнявшись над подушкой, он с жалкой улыбкой посмотрел на горничную и прошептал:

– Стеша... простите меня...

– Ничего, ничего... Полно вам... Лежите! Глупенький вы, – засмеялась девушка, и Леньке вдруг показалось, что она помолодела и похорошела за это время. Таким веселым и свободным смехом она никогда раньше не смеялась.

В это время за дверью «темненькой» кто-то громко закашлялся.

– Кто это там? – прошептал Ленька.

– Никого там нет, Лешенька. Лежите, – засмеялась девушка.

– Нет, правда... Кто-то ходит.

Стеша быстро нагнулась и, пощекотав губами его ухо, сказала:

– Это мой брат, Лешенька!

– Тот?

– Тот самый.

Ленька вспомнил фотографию с обломанными углами и усатого человека в круглой, похожей на пирог шапке.

– Он жив?

– Живой, Лешенька. На три дня из Смоленска приезжал. Сегодня уезжает.

Скрипнула дверь.

– Стеня, можно? – услышал Ленька мягкий мужской голос.

Стеша кинулась к двери.

– Ш-ш... Ш-ш... Куда ты, колоброд? Разве можно сюда?! – Ты куда, коза, мою кобуру от браунинга засунула? – негромко спросил тот же голос.

– Какую еще кобуру? Ах, кобуру?..

Ленька приподнял голову, хотел посмотреть, но никого не увидел – только услышал легкий запах табачного дыма, просочившийся в комнату.

А вечером он опять проснулся. Разбудил его шепелявый старческий голос, который с придыханием проговорил над его изголовьем:

– Бедный маленький калмычонок... В какое ужасное время он родился!..

Он открывает глаза и вздрагивает. Он видит перед собой страшное, черное, выпачканное сажей лицо. Кто это? Или что это? Ему кажется, что он опять бредит. Но ведь это генеральша Силкова, старуха вдова, живущая во флигеле, в шестом номере. Он хорошо знает ее, он помнит эту маленькую чистенькую старушку, ее румяное личико, обрамленное траурной кружевной наколкой, ее строгую, чинную походку... Почему же она сейчас такая страшная? Что с ней случилось? Остановившимся взглядом он смотрит на старуху, а она наклоняется к нему, часто-часто мигает маленькими слезящимися глазками и шепчет:

– Спи, спи, деточка... Храни тебя Бог!..

И страшная костлявая рука поднимается над Ленькой, и грязные, черные, как у трубочиста, пальцы несколько раз крестят его.

Он вскрикивает и закрывает глаза. А через минуту слышит, как за ширмой мать громким шепотом уговаривает старуху:

– Августа Марковна!.. Ну зачем это вы? Что вы делаете? Ведь, в конце концов, это негигиенично... В конце концов, заболеть можно...

– Нет-нет, не говорите, ма шер, – шепчет в ответ старуха. – Нет-нет, милая... Вы плохо знаете историю. Во времена Великой революции во Франции санкюлоты, голоштанники, именно по рукам узнавали аристократов. Именно так. Именно, именно, вы забыли, голубчик, именно так.

Голос у генеральши дрожит, свистит, делается сумасшедшим, когда она вдруг начинает говорить на разные голоса:

– «Ваши ручки, барыня!» – «Вот мои руки». – «А почему ваши руки белые? Почему они такие белые? А?» И – на фонарь! Да-да, ма шер, на фонарь! Веревку на шею и – на фонарь, а ля лянтерн!.. На фонарь!..

Генеральша Силкова уже не говорит, а шипит.

– И к нам придут, ма шер. Вот увидите... И нас не минует чаша сия... Придут, придут...

«Кто придет?» – думает Ленька. И вдруг догадывается: большевики! Старуха боится большевиков. Она нарочно не моет рук, чтобы не узнали, что она – аристократка, вдова царского генерала.

Его опять начинает знобить. Делается страшно.

«Хорошо, что я не аристократ», – думает он, засыпая. И почему-то вдруг вспоминает Волкова.

«А Волков кто? Волков – аристократ? Да, уж кто-кто, а Волковы, конечно, самые настоящие аристократы...»

* * *

...Он спит долго и крепко. И опять просыпается от грохота. Кто-то властно стучит железом о железные ворота. На улице слышатся голоса. Из маминой спальни, куда на время переселились Вася и Ляля, доносится детский плач.

– Стеша! Стеша! – приглушенно кричит Александра Сергеевна. – Что там случилось? Голубушка, подите узнайте...

– Хорошо, Александра Сергеевна... сейчас... узнаю, – спокойно отвечает Стеша, и слышно, как в «темненькой» чиркают спичками... Шлепают босые Стешины ноги. Через минуту на кухне хлопает дверь.

Ленька лежит, не двигается, слушает. На улице и во дворе тихо, но воспаленному воображению мальчика чудятся голоса, выстрелы, стоны...

Опять хлопнула дверь.

– Стеша, это вы?

– Я, барыня.

– Ну, что там такое?

– Да ничего, барыня. Матросы и красногвардейцы ходят. С обыском пришли. Оружие ищут.

– Куда же они пошли?

– В шестой номер, к Силковой.

– Боже мой! Несчастная! Что она переживает, – со вздохом говорит Александра Сергеевна, и Ленька чувствует, как у него от ужаса шевелятся на голове волосы, или, вернее, то, что осталось от них после стрижки под нулевую машинку.

«На фонарь! На фонарь!» – вспоминается ему шепелявый шепот генеральши. Он сбрасывает одеяло, садится, ищет в темноте свои стоптанные ночные туфли. Ему страшно, он весь трясется, но в то же время он не в силах превозмочь жадного любопытства и желания увидеть своими глазами последние минуты несчастной генеральши. Он не сомневается, что она уже висит на фонаре. Он ясно представляет ее – чинную и строгую, висящую со сложенными на груди руками и с молитвенным взглядом, устремленным в небеса.

Накинув на плечи одеяло и шатаясь от слабости, он пробирается на цыпочках в прихожую, единственное окно которой выходит во двор. Перед самым окном растет тополь, под тополем стоит газовый фонарь.

Зажмурившись, Ленька приближается к окну. Открыть глаза он боится. Целую минуту он стоит плотно прищурившись, потом набирается храбрости и разом открывает оба глаза.

На фонаре никого еще нет. На улице идет дождь, фонарь ярко светится, и дождевые капли косо бегут по его трапециевидным стеклам.

Где-то в глубине двора, во флигеле, глухо хлопнула дверь. Ленька прижимается к стеклу. Он видит, как через двор идут какие-то черные фигуры. В темноте что-то блестит. И опять ему кажется, что из темноты доносятся стоны, слезы, приглушенные крики...

«Идут... вешать», – догадывается он и с такой силой прижимается лбом к холодному стеклу, что стекло под его тяжестью скрипит, дрожит и гнется.

Но люди минуют фонарь, проходят дальше, и мгновение спустя Ленька слышит, как внизу, на черной лестнице, противно визжит на блоке входная дверь.

«К нам пошли!» – соображает он. И, угрем соскользнув с подоконника, теряя на ходу туфли, он бежит в детскую. Из маминой спальни доносится приглушенная песня. Укачивая Лялю, Александра Сергеевна вполголоса поет:

Спи, младенец мой прекрасный,

Баюшки-баю...
Тихо светит...

– Мама! – кричит Ленька. – Мама!.. Мамочка... Идут к нам... Обыск!..

И не успевает он произнести это, как на кухне раздается порывистый звонок.

С бьющимся сердцем Ленька вбегает в детскую. Одеяло сползает с его плеч. Он подтягивает его – и вдруг видит свои руки.

Они белые, бледные, даже бледнее, чем обычно. Тонкие голубые жилки проступают на них, как реки на географической карте.

Несколько секунд Ленька думает, смотрит на руки, потом кидается к печке, присаживается на корточки и, обжигаясь, открывает раскаленную медную дверцу.

В глубине печки еще мелькают красные угольки. Зола еще не успела остыть. Не задумываясь, он пригоршнями берет эту теплую мягкую массу и по самые локти намазывает ею руки. Потом то же самое делает с лицом.

А на кухне уже слышатся мужские голоса, стучат сапоги.

– Кто проживает? – слышит Ленька резкий грубоватый голос.

– Учительница, – отвечает Стеша.

Приоткрыв на полвершка дверь, Ленька выглядывает на кухню.

У входных дверей стоит высокий, статный, похожий на Петра Великого матрос. Черные усики лихо закручены кверху. Грудь перекрещена пулеметными лентами. В руке винтовка, на поясе деревянная кобура, на левом боку – тесак в кожаных ножнах.

За спиной матроса толпятся еще несколько человек: два или три моряка, один штатский с красной повязкой на рукаве и женщина в высоких сапогах. Все они с винтовками.

На кухне появляется Александра Сергеевна. Правой рукой она придерживает заснувшую у нее на плече Лялю, левой застегивает капот и поправляет прическу.

– Здравствуйте, – говорит она. – В чем дело?

Говорит она спокойно, как будто на кухню пришел почтальон или водопроводчик, но Ленька видит, что мать все-таки волнуется, руки ее слегка дрожат.

Высокий матрос прикладывает руку к бескозырке.

– Хозяйка квартиры вы будете?

– Я.

– Учительница?

– Да. Учительница.

– Проживаете одни?

– Да. С тремя детьми и с прислугой.

– Вдовая?

– Да, я вдова.

Великан смотрит на женщину с сочувствием. Во всяком случае, так кажется Леньке.

– А чему же вы, простите за любопытство, учите? Предмет какой?

– Я учительница музыки.

– Ага. Понятно. На пианине или на гитаре?

– Да... на рояле.

– Понятно, – повторяет матрос и, повернувшись к своим спутникам, отдает команду:

– Отставить! Вира...

Потом еще раз подбрасывает руку к фуражке, на ленточке которой тускло поблескивают вытершиеся золотые буквы «Заря Свободы», и говорит, обращаясь к хозяевам:

– Простите за беспокойство. Разбудили... Но ничего не поделаешь – революционный долг!..

Ленька как зачарованный смотрит на красавца матроса. Никакого страха он уже не испытывает. Наоборот, ему жаль, что сейчас этот богатырь уйдет, скроется, растворится, как сновидение...

В дверях матрос еще раз оборачивается.

– Оружия, конечно, не водится? – говорит он с деликатной усмешкой.

– Нет, – с улыбкой же отвечает Александра Сергеевна. – Если не считать столовых ножей и вилок...

– Благодарим. Вилки не требуются. И тут Ленька врывается на кухню.

– Мама, – шепчет он, дергая за рукав мать. – Ты забыла. У нас же есть...

Матрос, который не успел уйти, резко поворачивается. – Тьфу, – говорит он, вытаращив глаза. – А это что за шимпанзе такой?

Товарищи его протискиваются в кухню и тоже с удивлением смотрят на странное черномазое существо, закутанное в зеленое стеганое одеяло.

– Леша!.. Ты что с собой сделал? Что с твоим лицом? И руки! Вы посмотрите на его руки!..

– Мама, у нас же есть, – бормочет Ленька, дергая мать за рукав капота. – Ты забыла. У нас же есть.

– Что у нас есть?



Товарищи с удивлением смотрят на странное черномазое существо, закутанное в зеленое одеяло.

– Огужие...

И, не слыша хохота, который стоит за его спиной, он бежит в коридор.

Обитый латуною сундук чуть не под самый потолок загроможден вещами. Вскрабкавшись на него, Ленька торопливо сбрасывает на пол корзины, баулы, узлы, шляпные картонки... С такой же поспешностью он поднимает тяжелую крышку сундука. Ядовитый запах нафталина сильно ударяет в нос. Зажмурившись и чихая, Ленька лихорадочно роется в вещах, вытаскивает из сундука старинные пашки, подсумки, стремена, шпоры...

Нагруженный этой казачьей амуницией, он возвращается на кухню. Зеленое одеяло волочится за ним, как шлейф дамского платья...

Опять его встречает хохот.

– Что это? – говорит великан матрос, с улыбкой разглядывая принесенные Ленькой вещи. – Откуда у вас взялось это барахло?

– Это вещи моего покойного мужа, – говорит Александра Сергеевна. – В девятьсот четвертом году он воевал с японцами.

– Понятно. Нет, мальчик, этого нам не надо. Это вы лучше в какой-нибудь музей отнесите. А впрочем... постой... Пожалуй, эта сабелька пригодится...

И, повертев в руках кривую казацкую пашку, матрос лихо засовывает ее за пояс, на котором уже и без того навешано оружия на добрых ползвода.

* * *

...Через десять минут Ленька сидит в постели. На табурете возле него стоит таз с теплой водой, и Александра Сергеевна, засучив рукава, моет мальчика ноздреватой греческой губкой. Стеша помогает ей.

– А вы знаете, Стеша, – говорит Александра Сергеевна. – Пожалуй, эти красногвардейцы вовсе не такие уж страшные. Они даже славные. Особенно этот, который за главного у них, с гусарскими усиками...

– А что ж, барыня, – обиженно отвечает Стеша. – Что они – разбойники, что ли? Это ж не с Канавы¹³ какие-нибудь. Это революционная охрана. А они потому добрых людей по ночам будят, что некоторая буржуазия привычку взяла оружие припрятывать. Вы знаете, что намерены в угловом доме у одной статской советницы нашли?

Леньке течет в уши мыльная вода. Он боится прослушать, вырывается из Стешиных рук и спрашивает:

– Что? Что нашли?

– А, чтоб вас, ей-богу! – говорит Стеша. – Забрызгали всю. Не прыгайте вы, пожалуйста!.. Целый пулемет в ванне у нее стоял. И патронов две тыщи. Вот что!..

* * *

...Эти ночные приключения могли плохо кончиться для больного мальчика. Но, вероятно, он уже так долго болел, что болезням в конце концов надоело возиться с ним и они оставили его. Через неделю он чувствовал себя настолько хорошо, что доктор Тувим позволил ему встать. А еще через две недели, закутанный по самый нос шарфами и башлыками, он впервые вышел во двор.

Уже давно выпал снег. Он лежал на крышах, на карнизах, на ветвях старого тополя, на перекладинах фонаря...

Ленька стоял у подъезда и, задрав как галчонок голову, с наслаждением глотал чистый, морозный, пахнущий дымом и антоновскими яблоками воздух.

¹³ Канáва – район Петербурга.

Заскрипел снег. Он оглянулся. Через двор шла, опираясь на палку, генеральша Силкова. Чистенькое румяное личико ее на морозе еще больше покраснело. Белый кружевной воротничок выглядывал из-под рыжего лисьего боа, хвостик которого висел у Силковой на груди, а пучеглазая острая мордочка с высунутым розовым язычком уставилась генеральше в затылок.

Ленька смотрел на Силкову как на привидение.

Когда старуха проходила мимо, он с трудом шаркнул по глубокому снегу ногой и сказал:

– Здравствуйте, мадам... Значит, вас не повесили?

– Что ты говоришь, деточка? – спросила, останавливаясь, Силкова.

– Я говорю: вас не повесили?

– Нет, бедное дитя, – ответила старуха и, тяжело вздохнув, пошла дальше.

* * *

...В училище Ленька вернулся перед самыми рождественскими каникулами. Он пропустил больше двух месяцев и, хотя последние две недели усиленно занимался дома, боялся все-таки, что намного отстал от класса. Однако когда он пришел в реальное и увидел, какие там царят порядки, он понял, что опасаться ему было совершенно нечего.

Первое, что бросилось ему в глаза, это то, что класс его сильно поредел. На многих партах сидело по одному ученику, а на некоторых и вообще никого не было.

– Куда же все мальчики девались? – спросил он у своего соседа Тузова-второго.

– Не знаю. Уж давно так, – ответил Тузов-второй. – Кто болен, кто по домашним обстоятельствам не ходит, а кто и вообще перестал заниматься.

– А Волков?

– Волков, кажется, уж целый месяц не появлялся.

«Наверно, тоже болен», – решил Ленька.

В училище было холодно. Батареи парового отопления еле-еле нагревались. Во многих окнах стекла были пробиты винтовочными пулями и наскоро заделаны круглыми деревянными нашлепками. В перемену Ленька заметил, что многие старшекласники разгуливают по коридору училища в шинелях.

По-прежнему главный центр училищной жизни находился в уборной. Как и раньше, там целыми днями шли дебаты, но Леньке показалось, что теперь эти споры и перепалки стали гораздо острее. Чаще слышались бранные слова. Чаще возникали потасовки... И еще одно наблюдение сделал Ленька: в этих спорах и потасовках больше всего доставалось тому, кто отваживался защищать большевиков...

Перед большой переменной в класс пришел классный наставник Бодров и объявил, что уроков сегодня больше не будет, ученики могут расходиться по домам.

Никто, кроме Леньки, не удивился.

– Это почему? Что случилось? – спросил он у выходившего вместе с ним из класса мальчика. Это был смешливый, вечно улыбающийся паренек – Коля Маркелов, внук училищного вахтера.

– А что? Ничего не случилось, – улыбнулся Маркелов. – У нас теперь почти каждый день такая волынка. То кочегарка почему-то не работает, то учителя саботируют, то старшекласники бастуют.

«Как это бастуют? – не понял Ленька. – Бастуют рабочие на заводах, а как же могут бастовать ученики и тем более учителя?»

* * *

...Выйдя из училища, Ленька решил сразу домой не идти, а пошататься немного по улицам. Он так долго проторчал в четырех стенах, что не мог отказать себе в этом удовольствии.

Обогнув огромный Троицкий собор, полюбовавшись, как всегда, на памятник Славы, сделанный из ста двадцати восьми пушек, он вышел на Измайловский, перешел мост и побрел по Вознесенскому в сторону Садовой.

День был яркий, зимний. Приятно похрустывал снег под ногами. Скрипели полозья извозничьих санок. Откуда-то из-за Ленькиной спины, из-за башни Варшавского вокзала холодно светило луженое зимнее солнце.

На первый взгляд никаких особенных изменений на улицах за это время не произошло. В Александровском рынке бойко шла торговля. На рундуке газетчика у черного с черепичными башенками Городского дома, угол Садовой и Вознесенского, лежали все те же газеты: «Новое время», «Речь», «Русская воля», «Петроградский листок»... Не было, правда, уже «Кузькиной матери», но зато появились газеты, каких Ленька раньше не видел: «Известия Петроградского Совета», «Правда», «Солдатская правда»...

У дверей булочной Филиппова стояла длинная очередь. На каланче Спасской части маячил тулуп дозорного. По Садовой от Покрова шла скромная похоронная процессия... На площадке против Никольского рынка деревенский парень, подпоясанный красным кушаком, торговал рождественскими елками. Все было как и в прошлом году, как и пять лет тому назад. Но не все было по-старому. Были изменения, которые бросались в глаза.

Уличная толпа стала проще. Не видно было шикарных лихачей, санок с медвежьими полостями, нарядных дам, блестящих офицеров. Ленька даже вздрогнул, когда увидел вдруг шедшего ему навстречу низенького тучного господина в бобровой шапке, с золотым пенсне на носу и в высоких черных ботах. Этого господина он видел осенью у Волковых. Он уже хотел поклониться, но тут заметил, что господин этот идет не один – по правую и левую руку от него шагали два очень сурового вида человека с винтовками и с красными повязками на руках.

Ленька поежился. Опять он вспомнил Волкова.

«Зайду, узнаю, что с ним», – решил он. Тем более что Крюков канал был совсем рядом.

Поднявшись по зашарканной ковровой дорожке в бельэтаж, он долго стоял перед высокой парадной дверью и нажимал пуговку звонка. Никто не открыл ему.

Когда он спускался вниз, из швейцарской вышел сутулый небритый старик в валенках и в черной фуражке с золотым галуном.

– Вы к кому? – спросил он Леньку.

– Вы не знаете, куда девались Волковы из первого номера? – сказал Ленька. – Я звонил, звонил, никто не отвечает.

– И не ответят, – угрюмо ответил швейцар.

– Как? Почему не ответят? А где же они?

Швейцар посмотрел на тщедушного реалиста, словно раздумывая, стоит ли вообще объясняться с таким карапетом, потом смилостивился и ответил:

– Уехали со всем семейством на юг, в свое имение.

На другой день в училище Ленька сообщил об этом Маркелову, который спросил у него, не видел ли он Волкова.

– Волков уехал на юг, – сказал он.

– Уехал?! – рассмеялся Маркелов. – Скажи лучше – не уехали, а смылись!

– Как это – смылись? – не понял Ленька.

Тогда эти воровские, «блатные» словечки в большом количестве появились не только в обиходе мальчиков, но и в разговорном языке многих взрослых. Объясняется это тем, что

Временное правительство перед своим падением выпустило из тюрем уголовных преступников. Этот темный люд, рассеявшись по городам и весям страны, занимал не последнее место среди врагов, с которыми потом пришлось бороться молодой Советской власти.

– Что значит «смылись»? – удивленно переспросил Ленька.

– Чудак! – засмеялся Маркелов. – Ну, убежали, стрелача задали. Сейчас вашему брату – сам знаешь – амба! А у Волкова-папаши тоже небось рыльце в пуху!..

– Какому нашему брату? – обиделся Ленька. – Ты что ругаешься? Я не аристократ.

– А ты кто? Ты за какую партию?

– Я казак, – по привычке ответил Ленька.

* * *

Эта зима была очень трудная. На окраинах страны начиналась гражданская война. В Петрограде и в других городах все сильнее и сильнее давал себя чувствовать голод. Цены на продукты росли. На рынках появилась в продаже конина. Черный хлеб, который Леньку еще так недавно силой заставляли есть за обедом с супом и жарким, незаметно превратился в лакомство вроде торта или пирожных.

Ленькина мать по-прежнему бегала по урокам, доставать которые с каждым днем становилось труднее. Все так же у нее болели зубы. И по вечерам, когда она, как всегда, перед сном целовала и крестила детей, Ленька чувствовал тошнотворно-приторный запах чеснока и ландыша.

В середине зимы Стеша поступила работать на завод «Треугольник». Из Ленькиной семьи она не ушла, продолжала жить в «темненькой», даже помогала, чем могла, Александре Сергеевне. Чуть свет, задолго до фабричного гудка вставала она, чтобы занять очередь за хлебом или за молоком в магазине «Помещик» на Измайловском. Вернувшись с работы, она перемывала посуду, выносила мусор, мыла полы на кухне и в коридорах... Александра Сергеевна пробовала заниматься хозяйством сама. Готовить она умела, так как училась когда-то, в первые годы замужества, на кулинарных курсах. Но когда она попробовала однажды вымыть в детской пол, к вечеру у нее так разболелась спина, что Леньке пришлось спешно бежать к Калинкину мосту за доктором Тувимом.

Зима, которая тянулась бесконечно долго, казалась Леньке какой-то ненастоящей. И учились не по-настоящему. И ели не так, как прежде. И печи не всегда были теплые.

Кто виноват во всем этом, где причина начавшейся разрухи, Ленька не понимал, да и не очень задумывался над этим. В десять лет человек живет своими, часто гораздо более сложными, чем у взрослых, интересами. Правда, и в этом возрасте Ленька не был похож на своих сверстников. Он не бегал на каток, не заводил во дворе или на улице дружков-приятелей, не увлекался французской борьбой, не коллекционировал марок... Как и раньше, самым дорогим его сердцу местом был его маленький, похожий на школьную парту рабочий столик. Он по-прежнему запоем читал, сочинял стихи и даже составил небольшую брошюру под названием «Что такое любовь», где говорилось главным образом о любви материнской и где приводились примеры из Достоевского, Тургенева и Толстого. Этот философский трактат он заставил переписать от руки в десяти экземплярах Васю, который уже второй год учился в приготовительных классах и который мог взять на себя этот чудовищный труд не иначе, как из очень большого уважения к брату. У самого Васи, который рос и здоровел не по дням, а по часам, никаких склонностей к литературным занятиям не было.

* * *

Весной, когда Ленька успешно перешел во второй класс (что было в тех условиях вовсе не трудно), пришло письмо от няньки. Она писала, что детям нужно отдыхать, а времена наступили трудные, все дорого и навряд ли Александра Сергеевна будет снимать в этом году дачу. Не соберется ли она с ребятами на лето к ней в деревню?

Вечером, когда все сошлись в столовой, Александра Сергеевна огласила это письмо перед своими домочадцами.

– Ну, как по-вашему: едем или не едем? – спросила она своих птенцов.

– Едем! – в один голос пропищали птенцы.

– А вы, Стеша, что думаете на этот счет?

– А что ж, – сказала Стеша. – Конечно, поезжайте... Времечко такое, что летом, может, еще хуже, голоднее будет, особенно у нас в Петрограде.

– Может быть, и вы, Стеша, поедете? – с робкой надеждой посмотрела на девушку Александра Сергеевна.

Но Стеша решительно замотала головой.

– Нет, Александра Сергеевна, – сказала она. – Я из Питера не уеду. Мое место – здесь. Имуущество ваше сберегу – не тревожьтесь. А вы за эту услугу и мне услугу окажите – поклонитесь от меня матушке Волге. Ведь я тамошняя – из-под Углича.

И вот Ленька впервые в жизни отправился в дальний путь – в Ярославскую губернию.

Когда, перед тем как ехать на вокзал, он усаживался на извозчика и с хохотом принимал из Стешиных рук бесчисленные чемоданы, узлы, тючки и корзинки, он не знал и знать не мог, что путешествие его затянется надолго и что на этом пути, который начинался так легко и весело, ждут его очень сложные передраги и суровые испытания.

Глава 4

Испытания начались гораздо раньше, чем Ленька и его семья добрались до места назначения.

От Петрограда до станции Лютово поезд шел пять с половиной суток. В мирное время эту поездку можно было совершить за десять-двенадцать часов. От станции до деревни Чельцово предстояло сделать еще 16 верст. Оставив вещи под присмотром ребят на станции, Александра Сергеевна отправилась на розыски подводы, которую обещала выслать за нею нянька. Через пять минут она вернулась в сопровождении маленького рыжебородого человека в высоком темно-синем картузе и в сапогах с очень низенькими сморщенными голенищами.

– Третьи сутки на станции живу, – мрачно говорил этот человек, постегивая себя кнутом по голенищу. – Знал бы, не ехал.

– Простите, голубчик, мы не виноваты, – заискивающим тоном отвечала ему Александра Сергеевна. – Вы же знаете, наверно, – железные дороги работают отвратительно, мы сами измучились.

Рыжебородый остановился перед горой чемоданов и корзинок, на вершине которой, вцепившись грязными пальцами в веревки, сидели маленькие, очень усталые на вид мальчик и девочка. Рядом, с дамской сумкой в руках, стоял хмурый бледнолицый реалист в черной измятой шинели. Возница медленно обошел этот маленький табор, деловито осмотрел его, что-то прикинул в уме и, покачав головой, крикнул.

– Н-да, – сказал он. – Гардероп! Ну, что ж. Только я вот что тебе скажу, барыня... Вы как хотите, а я за ту цену, что мы рядились, ехать не согласный. Я за три дни на одно сено две романовских красненьких извел.

– Хорошо-хорошо, конечно, – перебила его, покраснев, Александра Сергеевна. – Вы, пожалуйста, скажите, сколько вам следует, я заплачу.

Мужичок задумался, снял картуз, почесал в затылке. – Спирт есть? – сказал он наконец.

– Нет, – ответила, улыбнувшись, Александра Сергеевна.

– А мыло?

– Мыла немножко есть.

– А чай?

– Чай найдется.

– А сахар?

– Сахар есть.

– А соль?

– И соль есть.

– А материе какое-нибудь? Ситец там или сатинет...

– Послушайте, – не выдержав, рассердилась Александра Сергеевна. – Вы что – в магазин пришли, в лавку? Скажите мне, сколько вы хотите денег, и я вам, не торгуясь, заплачу.

– Денег! – усмехнулся возница. – А что мне, скажи на милость, делать с твоими деньгами? Стены оклеивать?

– Не знаю. У нас в городе стены деньгами не оклеивают. Для этого существуют обои.

– Знаю. Не в Пошехонье живем, – осклабился возница. Потом опять помолчал, опять подумал, опять почесал в затылке.

– Николаевские? – сказал он наконец.

– Нет, у меня николаевских денег нет, – сказала Александра Сергеевна.

– Керенки?

– Нет, и керенок нет.

– А какие?

– Обыкновенные советские деньги, которые всюду ходят.

– Гм. Ходят!.. Ходят-то ходят, а потом, глядишь, и перестанут ходить... Кольца золотого нет?

– Знаете, почтенный, – сказала Александра Сергеевна. – Я вижу, у нас с вами ничего не выйдет. Я поищу, может быть, тут другой возница найдется...

– Ну поищи, – усмехнулся рыжий. Потом на секунду задумался и вдруг, хлопнув себя кнутом по голенищу, весело воскликнул: – Э, будь я неладный... чего там... ладно... садитесь!.. Чать не обманете бедного мужичка-середнячка, сосчитаемся! Для кумы, для Секлети Федоровны, делаю. Обещал ей гостей доставить и доставлю.

И, запихав за пояс кнут, он взвалил на спину самую тяжелую корзину, сунул под мышку один чемодан, прихватил второй и, покачиваясь на своих коротких ножках, легко пошел к выходу.

Через десять минут тяжело нагруженная телега, подпрыгивая на ухабах, уже катилась по проселочной дороге, и Ленька первый раз в жизни чувствовал над головой у себя настоящее деревенское небо и дышал чистым деревенским воздухом.

Ему повезло. Была весна, самый расцвет ее, середина мая. Снег уже стоял, но поля только-только начали зеленеть, и листья на деревьях были еще такие крохотные, что издали казалось, будто черные ветви березок и осин посыпаны укропом.

Все было в диковину ребятам – и безрессорная, грубо сделанная телега, и низкорослая деревенская лошадка, и бесконечная, выющаяся, как серая змейка, дорога, и холмы, из-за которых выглядывали то деревенские крыши, то ветряная мельница, то колокольня, и зеленеющие нежно поля, и густые, темные леса, каких они, конечно, никогда не видели ни в Лигове, ни в Петергофе, ни в Озерках.

Разморенные долгим и неудобным путешествием маленькие Вася и Ляля прикорнули у матери на коленях и заснули. А Ленька все сидел, смотрел и не мог наглядеться.

Вглядываясь в непролазную чашу леса, дыша его прелой весенней свежестью, он чувствовал, что голова его кружится, а сердце стучит громче, и думал, что в таком дремучем лесу обязательно должны водиться разбойники. Ему вспоминались отважные и веселые сподвижники Робин Гуда... герои Дюма, Купера... Дубровский... индеец Джо... Ему казалось, что за стволами деревьев он уже видит чьи-то настороженные глаза, наведенное дуло пистолета, натянутый лук...

А рыжебородый возница боком сидел на передке телеги, лениво подергивал вожжи и угрюмо молчал.

– Ну, как вы тут живете, голубчик? – спросила у него, нарушив молчание, Александра Сергеевна.

Возница целую минуту не отзывался, потом пошевелил вожжами и, не поворачивая головы, мрачно ответил:

– Живем пока...

– С продуктами благополучно у вас?

– Пока, я говорю, не померли еще. Жуем.

– А вот у нас в Петрограде совсем плохо. Уже конину едят.

Возница посмотрел на приезжую, скривил набок рот, что должно было означать усмешку, и сказал:

– Погодите, ишшо не то будет. До кошек и до собак – и до тех доберутся. Вот помяните мое слово...

– Послушайте, почему вы так говорите? Ведь вам-то теперь легче живется?

Рыжебородый даже подскочил на своем передке, отчего лошадь его испуганно вздрогнула и взмахнула хвостом.

– Легче??! – сказал он с таким видом, как будто Александра Сергеевна сказала ему что-то очень обидное.

– А разве неправда? Ведь вы получили землю, освободились от помещиков...

– От помещиков? Освободились?

Леньке казалось, что в груди у рыжебородого что-то клокочет, бурлит, закипает и вот-вот вырвется наружу. Так оно и случилось.

– Землю, говоришь, получили? – сказал он, натягивая вожжи и совершенно поворачиваясь к седокам. – А на кой мне, я извиняюсь, ляд эта земля, если меня продразверстка, я тебе скажу, пуще лютой смерти душит, если меня комбед за самую шкуру берет?! Помещик? А что мне, скажи, пожалуйста, помещик? Я сам себе помещик...

– Я не знала, – смутилась Александра Сергеевна. – Я думала, что крестьяне довольны.

– Кто? Крестьяне?? Довольны?.. Да, ничего не скажу, есть такие, что и довольны. Очень даже довольны. А кто? Голодранец, лодырь, голь перекатная...

Внезапно он оборвал себя на полуслове, посмотрел на приезжую и совсем другим голосом сказал:

– А вы, простите, из каких будете? Не коммунистка? – Ну вот, – усмехнулась Александра Сергеевна. – Разве я похожа на коммунистку?

Рыжебородый окинул взглядом ее серый городской костюм, стеганую панамку с перышком, ридикюль, зонтик, часики на кожаном ремешке – и, как видно, вполне удовлетворился этим осмотром.

– Тогда я вам, барыня хорошая, вот чего скажу, – начал он. Но договорить не успел. Впереди на дороге показался человек. Ленька хорошо видел, как он выглянул из лесной чащи, раздвинул кусты и, выйдя на середину дороги, поднял над головой руку.

«Разбойники! – подумал мальчик и тотчас почувствовал, как по всему его телу медленно разливается обжигающий холодок блаженного страха. – Вот оно... вот... начинается...»

Но тут же он понял, что ошибся. Человек этот был никакой не разбойник, а обыкновенный солдат в серой барашковой папахе и в шинели без погон.

Когда телега приблизилась, он выступил вперед и хриплым голосом сказал:

– Стой! Кто такие?

Ленька увидел, что из-за его спины выглядывает еще несколько человек.

– Вы меня спрашиваете? – спокойно сказала Александра Сергеевна.

– Да, вас.

У солдата было рябое лицо, левый глаз его все время подмаргивал, как будто в него соринка попала.

– Мы из Петрограда... я учительница... едем на лето к знакомой в деревню Чельцово...

– Ага! Из Петрограда?!

Человек в барашковой шапке обошел телегу, ощупал мешки и чемоданы и, не повышая голоса, сказал:

– А ну, скидавай барахло.

– Послушайте. Это что значит? Вы кто такой?

Вася и Ляля, словно почувствовав неладное, проснулись. Девочка громко заплакала.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.